



Виктор БАКИН

г. Киров



Война матерей

(24 декабря 1979 года, 40 лет назад, советские войска вошли в Афганистан)

*...Когда-нибудь потом я расскажу вам
и совсем про другое и совсем по-другому...
...Видел он мучимых – было их не перечесть! –
бедою замученных...
Кто им даст утешение?*

*Кто уймёт тоску и скорбь
покинутости и обойденности?
Кто остановит их плач беззвучный, неотпускающий?*

Алексей Ремизов

И в этой памяти – все!..
(вместо предисловия)

... Не знаю, не помню сейчас доподлинно, каким невольным случаем запали в душу, для какой особой надобности на бумажном клочке записал я своим корявым почерком горькие слова русского писателя Виктора Астафьева:

«...Матери, матери! Зачем вы покорились дикой человеческой памяти, примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественней всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданием, откупаться им и надеяться на чудо. Бога нет. Веры нет. Над миром властвует смерть. Кто

оплатит ваши муки? Чем оплатит? Когда? И на что нам-то надеяться, матери?..»

Кто же и когда же оплатит, матери, ваши муки?

Держу в руках снимок, сделанный лет пятнадцать, а может быть, и больше назад. На гранитном надгробном памятнике чистое, светлое лицо юноши, совсем еще мальчика. Брови вразлет, пухлые губы, челочка набок и аккуратный пробор. И тоненький узелок галстука на гражданской рубашке... Чуть пониже портрета почти закрыта траурным венком и гвоздичками казенная надпись, великодушно разрешенная военной цензурой для использования-копирования при захоронениях ребят-афганцев: «Погиб при исполнении интернационального долга». А за обелиском застыли тенью две скорбные женщины в одинаковых серых болоньевых пальто с покрытыми головами: сестра и мать...

В смурной августовский день несколько лет назад, направляясь на соревнования, посвященные памяти парня, погибшего в Чечне, притормозили мы ненадолго у этого кладбища. По соседству с могилой мальчика с челочкой была теперь еще одна могила – его матери. «Вот здесь она закончила свою жизнь», – сказал наш водитель Сергей, тоже бывший афганец, и показал рукой на растущую рядом ель, на крючковатый сук...

«Тут было выше человеческого.»

А нечеловеческое – судьба! – она вела по доле каждого со всей жестокостью к последнему пределу человеческого крестного терпения...» – вновь вспоминается Алексей Ремизов.

Еще одна история, рассказанная матерью погибшего афганца на крупном столичном форуме в присутствии министра обороны и многих прочих высших чиновников:

– Сын мой – он сержантом был, санинструктором – погиб перед самым выводом войск. Мужа спустя полгода парализовало. Инсульт. Не могу достать лекарства, а мне говорят: «Два года надо ждать очереди...» Да не выдержит он два года, когда столько лет на тюменском севере отработал – в воде, в снегу, по командировкам, по вагончикам... И я, пока два года сына ждала, нажила гипертонию, сахарный диабет. Врачиха наша прямо мне и заявляет, мол, за плечами белую смерть ношу... А просьба сегодня у меня одна и простая. Сын у нас на отшибе лежит, семь с половиной километров надо до кладбища добираться. Пока живы с мужем, еще как-то ковыляем, приносим цветы и гостинцы, а помрем – зарастет к нему тропочка... Я в исполком подавала прошение о перезахоронении: пусть перенесут туда, где похоронены воины Отечественной войны. А мне отвечают: «Вашему сыну там не положено...» Спрашиваю: «Почему не положено?» – «Он этого не заслужил...» Как так, объясните мне кто сможет? Сын ростом под два метра был, 52-й размер костюма носил перед армией, сколько на своих плечах с поля боя вынес... Он жизнь, что, не в Афганистане отдал, не на войне, пусть и скрытой от народа?... И вот принесла я заявление в исполком: сидят женщины, мужчины, депутаты, приглашенные. Вышла тогда на сцену, встала на колени, прошу: «Будьте людьми, перезахороните моего сына. Ведь умру, кто за его могилкой будет ходить?...» Решили голосовать, и большинство – против! Ну скажите, женщины, мамы, миленькие сестры, это милосердно? Это по-человечески? Да меня сейчас трясет день и ночь, не сплю до пяти утра. И муж из-за этого калека. Кто же нам поможет?

Мать на коленях... При всем честном народе, избранным жизнь нашу править, налаживать к лучшему, просит за сына. Немного просит, последнее. А навстречу – стена...

Сколько на долю матерей наших выпало – не передать, не сосчитать: не придумано еще такого счета, когда шепот резче всякого крика, да не слышит никто, когда слезы горькие поисточились – сухими слезами плач, да не видит никто, когда на спине – сгорбленной, изработанной – крест взвален неподъемный, кровавый, и нести это

страшное бремя предстоит в одиночку сквозь жестокую пустыню человеческой слепоты, беспамятства и равнодушия. И немного желающих – не на трепе праздном, не на посулах пустых, а на реальной подмоге – руку протянуть, плечо под ношу подставить. Поднять матерей с колен.

«...И где же найти милосердие – какими глгучими словами или каким кровавым хлывом надо хлестнуть по окаменелому сердцу и пробудить в мире и самое малое участие в человеке к человеку!...»

У всех по-разному – несколько месяцев, полгода, год или чуть больше были ребята на войне до своего смертного часа, до минуты роковой, в стране дальней, чужой гибели – в Афганистане или же на земле российской, кавказской – в Чечне. А мать уже тогда на колени пала, когда сын только в строй встал, присягу принял. Одно молила у Господа: спаси и сохрани... Не вымолила оберега... И когда известие страшное получила, взывом зашлась, не сдержали ноги, потянуло к земле. И когда уже гроб цинковый в комнате стоял, сколько дней и ночей на коленях около него проползала, щекой воспаленной к холодному металлу жмясь, в омут мутного окошечка пристально всматриваясь: мой ли? родной ли?

Закончилась для сыновей война – упокоились их тела и души. А мать – все на войне. Бессменно теперь, наверное, – до дней своих последних. Стойкий, одинокий солдат с измученной душой и терпением – великим, бессмертным.

Где же, когда же, в какой семье зародился такой беспамятный урод, такой жестокосердный человек, который встал супротив матери погибшего воина, убивая ее черствостью и унижением, заставляя опускаться на колени?

Много, очень много встреч – и в городах крупных, и в поселках малых – выпало у меня за последние годы с матерями ребят, не вернувшихся с войны. И той, что закончилась в феврале восьмидесяти девятого, и той, в которой еще не поставлена и неведомо когда будет поставлена последняя точка. Сколько слез было пролито – горьки воспоминания. Не властно над ними время.

«Наш трехчасовой разговор, наверное, стоил мне трех лет жизни, – сказала в откровении одна мать, вытирая платком красные глаза. – Не знаю, как сегодня и усну...»

Что снится матерям в случайную минуту забыть? Добрые картины прошлого, маленький сын, доставляющий веселые хлопоты своим чудачливым непосредством? Или его прямой вопрос, заданный уже оттуда, из-за черты: «Как ты, мама?...»

Будет ли время, настанет ли время, когда на этот вопрос скажет мать тихо, покойно: «Ничего сынок, ничего... Уважением и вниманием не обделена...»?

И вновь приходят на память ремизовские сло-

ва: «В России во все времена – при всяких царях и владыках – жили люди, и таких многое множество. Это те камни – крепь земли, простые обыкновенные люди: от напастей никуда им не скрыться, где родились, там и смерть – всю тяжесть они и несут на себе. Кто же им-то поможет в беде – в трудных буднях незаметных, совсем негромких? Ведь у всякого есть свое горе!..»

Когда же, кто же остановит войну матерей? Нет у меня ответа...

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Ты для нас вечно живой, сыночек!

Елена Васильевна Тюфякова, мать погибшего в Афганистане десантника Сергея Тюфякова:

– Что для меня война в Афганистане? Для чего она была – не знаю, не понимаю. Видимо, у нашего правительства много лишних людей. Вот и отправили их туда, в мясорубку...

Мы сейчас собираемся – матери, отцы тех ребят, кто с той войны не вернулся. Ни одного директора или чиновника. Вот и получается – кто в Афганистане был? Одна нищета: деревенские парни или ребята из рабочих семей. Кого не жалко. Отправили, погубили, словно и не нужные они стране. Обидно это – чувствовать, что ты лишний...

Как Сережа в Афганистан попал, у меня все время сердце в беспокойе было, все время колотилось. Когда долго писем нет, хожу как тень. Директорша как-то даже вызвала:

– Что, Елена Васильевна, у тебя случилось? Лица нет...

– Ничего не случилось.

– А что такая убитая?

– Вы знаете, такое состояние, что завывала бы и куда-нибудь убежала. Ничего мне не мило...

В тот день сын и погиб.

Он часто писал, в месяц по три письма было. А тут долго нет никакой весточки. А у нас одна женщина на картах гадает. Я к ней:

– Юля, поворожи мне, пожалуйста. Нет от Сережи писем.

Она мне кивнула, раскинула карты – одни вини. И отдельно – шестерка виновая. Переглянулась тут с женщиной, которая тоже в картах понимает, и говорит:

– Ему дорога домой.

– Как это? Когда?

– Скоро...

Вот и выпала сыну дорога домой. Но какая дорога? Черная...

Мы накануне с мужем ушли в сад. А на участке у нас столб электрический. Вот я под столбом что-то делаю, а ворона прилетела, вниз голову опустила и каркает. Я мужу:

– Пошли домой, может, письмо от Сережи?

Бросили работу, вернулись, вскрыли почтовый ящик – пусто. А через несколько дней похоронка... Видите, все предсказывало...

Он на Петелинском кладбище похоронен – одним из первых погиб из города. Был там такой клинышек, пустырек. Сейчас его уже весь заложили, а тогда... Место хорошее, солнечное...

Текст на памятник сами выбирали: «Ты для нас вечно живой, сыночек!» И никакого упоминания, что погиб в Афганистане. А еще крестик... И никто не помогал, ни военкомат, ни власти – сами все сделали. Положено было тысячу рублей выдать, но об этом – ни слова. Сказали только: сделайте памятник сами, а мы потом оплатим. А у нас какие средства? Вот насобирали 400 рублей, они нам четыреста потом и оплатили. А если бы знали, что можно тысячу на памятник потратить и эту тысячу потом возместят – заняли бы и сделали как положено...

Когда похоронка пришла, военком еще сказал: «Дальних родственников не собирайте. Хороните без лишнего шума...» Обидно это: словно вора какого! Конечно, не послушались: долго стояли у дома. В храм цинковый гроб не возили, заочно отпевали. Мама моя и креска ходили отпевать. И пока они не вернулись, не принесли песочек, мы от дома не уезжали. И военные, и городские власти терпеливо ждали: может, и недовольны были задержкой, но ни в чем нас не упрекнули...

Сережа высокий был, и гроб был длиннющий. И, видимо, очень тяжелый – под его тяжестью даже крепкие солдаты сгибались... Хотели обить домовину бархатом. Но мастер походил-походил и ничего не мог сделать, не входили гвозди. Пришлось чехлом сшивать и натягивать. И могилу солдаты копали – проштрафившиеся, с «губы». Я послала ребятам покушать, чтобы помянули сына. Но им ничего не передали. Вернулся солдатик, обратно все принес, говорит: «Наказаны они. Нельзя им...» Обидно, зачем уж так-то?

В те дни жара стояла, горели торфяники. И весь город был затянут дымом. Меня накололи лекарствами, и я выдержала. А вот младший сын Игорь... Только поднимут, он опять падает. На портрет брата смотрит всю ночь, не спит. Пришлось все фотографии убрать, не показывать.

Что от Сергея осталось? Рубль афганский, профсоюзный билет... И больше ничего. Берет десантника был на гробе – не его, внутри написана чужая фамилия. И маленький какой-то... Фотоальбом у него

был. Он нам уже из Афганистана сообщил, что в Белоруссии оставил фотоальбом и дипломат. На дипломат мы ему деньги посылали, надеялись, в отпуск приедет. И эти вещи хранились у знакомого сослуживца. Написали мы тогда командиру части: верните Сережины вещи. Вот фотоальбом послали, а дипломат нет...

Еще я на начальника госпиталя писала. У сына же операция из-за геморроя была. Спрашивала: как можно послать после такой операции на войну? Начальник ответил: операция прошла успешно, комиссия признала годным к строевой. Как так, ведь с этой болезнью надо диету соблюдать, а не сухим пайком питаться? Сергей писал: из сухарей червей выколачивали, воды не было, чтобы запить. Попробуйте с геморроем после такой пищи...

Со времени, как сын погиб, я его только один раз во сне видела. В деревне, где я родилась, у всех домов под окнами длинные скамейки. А недалеко – конный двор, на котором колхозники на работу собираются. И вот я будто знаю, что Сережа тоже там. Мы с мамой что-то по дому делаем, копошимся, и вдруг сын вскакивает на скамейку, голову в окошко просовывает, улыбается: «А вот и я!...» И такой полненький, красивый, лицо чистенькое. Когда в армию пошел, были гнойные прыщики, а тут чистый, розовощекий. Больше ни одного сна с ним не видела. Перед родительским днем, когда он ждет, вижу кладбище, оградку, а вот чтобы Сережу – никак не вижу...

Когда долго не спишь, все мысли о том, как росли сыновья. Что с ними случилось. Сережа родился – такой худенький, плохонький. Подходит медсестра, а я плачу. Она и говорит: «Да что вы плачете. Такая молодая. У вас еще дети будут...» Представляете, медсестра такое говорит, словно тоже не верит, что сын выживет. Вот и думаю: нехорошо, если помрет некрещеный. К креске сбегала, попросила: «Крес, помоги...» А у меня муж коммунист, свекор коммунист. С мужем в пятьдесят девятом обвенчались тайно. В нижнем храме венчались, ранним утром, но Штирлицы, видно, и там были, углядели. Свекра даже наказали за нас. А тут я на свой страх и риск собралась одна. Ребеночек на руках. И окрестила в Серафимовской церкви. И никто не узнал. Второго родила, Игоря, тоже окрестила.

Сереже, когда в армию пошел, крестик в кошелек положила. На шее ведь тогда не носили. Не сохранил... А Игоря призвали, я крестик в блокнот между двумя листочками вклеила. Молитвочку там же написала. И наказала сыну: береги этот блокнот. Вряд ли на него кто позарится. Вот Игорь и сохранил, привез домой...

Два сына у меня, и очень разные. Как небо и земля. Старший по характеру взрывной, горя-

чий, как отец. Улыбчивый, говорливый. А младший – другой. Несмеяна. Спокойный, покладистый. Сергея, когда похулиганит или ослушается, часто наказывали, а Игоря ни разу. И отца частенько в школу вызывали из-за Сережиных проказ. Как-то попрыгал на трубе, и вода побежала. Отец ходил, заваривал. В форточке стекло разбил – тоже отец вставлял...

Жили тогда в бараке, комнатка шестнадцать метров на четверых. Ребята вдвоем на диване мостились – в разные стороны головами спали. А рядом с домом – автоколонна. И речка – грязная, постоянно бензином покрытая. Мальчишки однажды играли на берегу, Сережа прыгнул в воду и на стекляшке ногу себе просадил. Кровь хлещет, весь подъезд уляпал. Кое-как перевязал рану и ко мне – я в воинской части на Щорса работала. Перепугалась, повела в сельмашевскую поликлинику. Хирург осмотрел – инфекции в рану попала – направил в травматологию. Там очередь, а я на работе, некогда. Оставила одного, и он уж сам сходил. Больно было, но не стонал, крепился...

Трудно жилось, и ребята понимали это, не каючили: купи одно, купи другое... Квартира коммунальная, и я не заставляла их полы мыть на кухне или в коридоре. Соседи еще увидят, скажут: отделяешься детьми. А приучать к работе как-то надо. Посоветовались тогда с мужем: давай купим огород. И купили. И мальчишки у нас занимались садоводством. Все умели: садить, копать, пилить, колоть, где-то что-нибудь и приколотить. Как-то привезли машину торфа. Я и говорю Сереже: «Съезди, поскидывай его». Так он всю машину до обеда раскидал. Пришел домой – черный, как цыган.

Животных очень любил. Подобрал и притащил как-то щенка. Даже будку к дровянику пригородил. А тот скулил всю ночь. Утром соседи давай скандалить, пришлось отпустить... Уже перед самой Сережиной армией отец принес маленького котеночка. Жил он у нас на кухне, в комнату я его старалась не пускать. Но котик хитрый: идет мимо открытой двери, увидит Сережу на диване, начинает мявкать. Сережа одеяло поднимет: «Барсик, иди сюда». Барсик головой повертит, поглядит на меня: можно или нельзя, а потом прыг на постель. Послушный был. А когда сын ушел в армию, попал под машину. И на могилку к Сергею бродячий кот больше года ходил. Как ни придем, он все здесь, все цветы прикатал. Потом пропал так же неожиданно, как и появился...

В последнее перед службой лето сын к бабушке в деревню поехал. Там в омутках карпы завелись. Омутки маленький, пересох. Рыбе деваться некуда. Так он домой огромного карпа принес, килограммов на 7! Еще со двора его услышала:

– Мам, смотри.
Вот такая рыбина в руках!
– Где же ты ее взяла?
– Да в деревне. Мешком выловил... По трассе нес, все шофера останавливались смотреть. Правда, чудо какое?

Ему очень хотелось жить. Скороспешка был прямо...

В чем я сейчас себя казню? В том, что отказывали часто. Хотелось, чтобы дети понимали, как нам с отцом трудно и тяжело. В жизни Сережа мало что и видел. Вот перед армией просил джинсовый костюм, очень дорогой. А мы ему купили дешевый. Польский. Почти и не поносил. Любил больно помодничать. Даже сам шил. Рубашку ему купишь – он сам ее приталит. Брюки клеш надо сделать – все сам, на машинке. И никто не учил – сам научился. Прихожу с работы, он с вопросом:

– Мам, я вот рубаху заузил. Хорошо ли?

– Хорошо. Точь-в-точь вытачки...

Окончил 8 классов, пошел в училище на газосварщика. Поработал немного – и повестка. Призывали в морфлот. А он не хотел в морфлот, там же три года служить.

Я в это время работала в военторге. Сережа ко мне:

– Мама, у тебя знакомые. Может, попросишь кого, чтобы в другие войска призвали.

Никого я просить не стала. А тут он с ночной смены возвращался и подвернул ногу. И такая к нему болячка присунулась – от пятки опухоль пошла по всей ноге. Пролежал в больнице свой призыв. Осенью же от военкомата послали в Порошино, где парашютисты прыгают. И Сережа сделал на «отлично» три прыжка.

Пришел однажды из военкомата, принес вырезку из журнала – на обложке десантник:

– Вот, мам, я в такой форме буду служить. Здорово, правда?

– Правда, сынок...

18 октября семьдесят девятого его провожали. Служил в Белоруссии, оттуда уже в Афганистан.

В Полоцке еще служил, прыгнул, видимо, неудачно – ему операцию сделали. Написал дяде, а тот, естественно, все нам рассказал. Собралась я в одночасье, поехала. Палата в госпитале большая, во всю нашу квартиру. А в ней человек двадцать, в основном азиаты. Увидел меня, капельки-капельки по лицу пошли. Не плакал, но все же... Я же не выдержала, разревелась. А он успокаивает:

– Все будет хорошо, мама.

– Дай хоть посмотрю, что с тобой.

– Нет-нет...

Так и не дал... А его геморрой замучил. И я ему сгущенное молоко носила, сладости. Долго он в госпи-

тале лежал. Там я его в последний раз и видела.

В Афганистане в первый раз в командировке побывал. Они бэтээры перегоняли. Написал потом в письме: «Четыре машины шло, одну подбили – сгорела как свечка. А нам команда – вперед. Не останавливаться, не помогать...» Еще писал, что, может, надолго туда направят. Не хочется, а как избежать?

Действительно, как? Взятки давать я не умею, не так воспитана. Да и не думалось все же, что он туда попадет.

Эту благоустроенную квартиру мы в восемьдесят первом получили – Сережа ее и не видел. Все просил написать: какая она, схему нарисовать. Зимой получили в тот трагический год. Переехали, а я ни делать ничего не могу, ни спать. Сажу у окна с одной мыслью – убежала бы на Деповскую, в старую свою конуру. Вот нехороша мне новая квартира и все! И до того допереживалась, что попала в больницу. Коллои димедрол, успокоительное. Забудусь во сне и вижу: холмик, могила. Проснусь утром, говорю женщинам в палате: «Кто-то у меня умрет. То ли мама, то ли свекор или свекровь. Кто-то из родных...» Потом уж поняла: точь-в-точь такой холмик видела, как у Сережи на могиле...

Нам очень хотелось узнать, как сын погиб. А в похоронке написали – умер от сердечной недостаточности. Это крепкий-то, здоровый парень под два метра ростом? Товарищ его вернулся, я к нему – может, что знает? А родители парня просят: «Не ходи... Он даже не раздевается, в одежде спит... Шторы все задергивает...» Так и не знаем истину...

Когда на сердце тяжело, мама меня успокаивала: «Сережа на войне погиб. Как воин. Значит, в рай попадет... И никакого горя он нам не оставил».

Что помогало выжить? Что у нас еще сын есть, надо его поднимать. Младшему из-за гибели брата год отсрочки дали. Служил в Ленинграде. Когда уволился, прилетел на самолете и сразу к брату на кладбище. Первым делом. Сначала к Сереже сходил, а уж потом домой.

Власти первое время еще помнили о нас. Как-то на 9 Мая привезли подарок – матрешку. Потом цветы. На кладбище увидели на памятнике крестик – не понравилось. Сказали: надо бы убрать, сделать звездочку. Даже такие разговоры были: на Петелинском Сережа один, надо перезахоронить в Макарье. Я, конечно, расстроилась, переживала. Но дальше слов дело не пошло. А потом, после восьмидесяти пятого, и вовсе о нас забыли. Спасибо ребятам-афганцам, собираются в феврале, помогают. Повидаемся, посмотрим на них и думаем: вот так же бы и наши сыновья изменились...

На памятнике ребятам, погибшим в Афганистане, добавилась сейчас дополнительная плита – фамилии невернувшихся из Чечни. На ней уже и

места не хватает... С родителями этих ребят тоже встречаемся, разговариваем. Каково им пришлось! Мы-то не видели, что в гробу привозили. Вскрывать не разрешали, а стеклышко изнутри краской закрашено – не соскоблишь. И есть там что или нет – не знаешь. А вот «чеченцы» насмотрелись. Мать одна рассказывала, как они ездили, искали сына среди трупов. Какую же надо силу воли иметь, чтобы смотреть, опознавать? Можно ли такое пережить?

Все мы под Богом. Отец Серафим однажды на проповеди сказал: «Если десять достойных человек молятся за город – город стоит. Если нет – город не жилец...» Мы-то грешники, но, видимо, есть еще в нашем городе верующие люди, угодные Богу. Благодаря их молитвам мы и спасаемся!

«Это же неправда! Неправда!..»

Николай Филиппович Колпащиков, отец погибшего в Афганистане офицера, военного переводчика Константина Колпащикова:

– Много разговоров было об отношении к этой войне. Разные мнения... Костя в письме своему другу (нам он ничего подобного не писал) говорил: «Если честно, я не знаю, зачем мы здесь. По-моему, мы здесь не нужны совершенно...» Он, как оказалось, уже там сознавал, что наша миссия совершенно ни к чему. И хорошего афганцам мы ничего не несем... Я лично сейчас считаю так же...

...Жили мы в Коминтерне. Далековато от города, но все же было у нас с женой желание, чтобы сын учился в 29-й школе. В спецшколе, где английский язык. С Костей посоветовались. Он тоже хотел там учиться. Вот с первого класса и пошел в 29-ю. Я его туда возил. Учился с желанием. Не скажу, что был отличником, но желание было. Когда провинится, я ему напомним: «Костя, за тройками в такую даль ездить ни к чему». Это на него всегда действовало оздоравливающе.

Он был немножко полноватым и потому всегда этого смущался. Его даже, когда во Дворце пионеров в студии «Диалог» занимался, определили играть Винни-Пуха. И ребята в школе его все время Винни-Пухом звали. Еще любил читать журнал «Юный техник». Даже изобрел какой-то проект космической бани. До сих пор ни я, ни жена не знаем, что это был за проект. Костя все скрытно от нас сделал и отправил в Москву. И вот оттуда ему пришло приглашение, и он был награжден дипломом, который подписал космонавт Титов.

Одно время он хотел поступать в театральное училище. Но я ему тогда честно сказал: «Костя, лучше быть хорошим слесарем, чем плохим акте-

ром. Если постоянно работать в массовке – зачем нужна такая жизнь?»

В 7 классе к ним приезжал мальчишка, который раньше окончил эту 29-ю школу, а сейчас учился в институте иностранных языков Министерства обороны. Он выступил перед ребятами, и вот Костя загорелся желанием поступать именно в этот институт. После девятого класса специально ездил туда, узнавал, как и что. А после школы поехал с товарищем поступать, но их сразу отшили, потому что конкурс был очень большой. Пошел в армию. Служил в Прибалтике, потом в Германии в десантных войсках. Я чувствовал, что ему доставалось, непросто было служить. Вот приехал к нему в «учебку», он с нами где-то часов до 9 побыл, а потом, хотя все еще отды-хали, пошел заниматься на перекладине. Я его раньше часто заставлял заниматься. У нас дома, как заходишь в ванную, висела перекладина. И я Косте говорил: «Занимайся». А он в ответ: «Пап, тут, знаешь, места мало». – «А ты ножки подогни...» И вот когда навещали его, Костя сказал: «Эх, надо было дома заниматься». Да, я чувствовал, что ему непросто приходится, но на все вопросы сын отвечал одно: «Да ладно, пап, все нормально».

Армия только укрепила его в желании поступать в институт иностранных языков, он даже направление взял. Поехал.

На экзаменах ему по английскому четверку поставили. Сын говорит: «Давайте дополнительный материал. Я знаю больше...» Я, когда узнал об этом, был просто поражен, ведь в школе четверка по иностранному вполне Костю удовлетворяла. А тут, пожалуйста! Требуется дополнительные задания. А все потому, что очень хотел поступить именно в этот институт.

Поступил. И сразу начал учиться. Изучал пушту и дари. Сначала очень трудно пришлось. Писал нам, что никак не может «вруться», не понимает, где кончается предложение. Но когда разобрался, стал считать, что это очень хороший язык. Конечно, если бы я знал, что происходит в Афганистане, я бы сказал сыну: «Давай-ка, сынок, пошли из этого института». Но ведь я тогда ничего не знал. Да и офицеры, которые были в Афганистане, а теперь преподавали в институте, говорили, что там нет ничего страшного. Что ребята будут служить при штабе переводчиками. По идее, так и должно было быть, но Костя всегда всегда рвался вперед. Его оставляли в Кандагаре в военной прокуратуре, но он не остался, поехал в действующую армию.

Год Костя проучился и летом приехал в отпуск. Он уже знал, что скоро отправится в Афганистан. Да ему, как только поступил на пушту и дари, сразу сказали, что будет служить в Афганистане. А тут еще были ускоренные курсы по подготовке военных пе-

реводчиков. Вот он год проучился, потом предстояла двухгодичная языковая практика в этой стране. А по возвращении продолжение учебы.

Последний вечер дома. Сын был веселый, все шутил. Потом с родственником вышел на балкон. Посмотрел на заходящее солнце, на родную улицу и сказал: «Как все прекрасно. И как хочется жить!»

Писем его мы очень ждали. Но писал редко. Писал, что все хорошо: живет в модуле, разговаривает с местным населением, натаскивая себя в языке. А вот о том, что уже участвовал в боевых выходах, не было ни слова. Мы тешили себя надеждой, что Костя служит в штабе. Покупали карты, книги об Афганистане: где что увидим, все брали. Если по телевизору что-то рассказывают об этой стране, бросаем все дела. И вот насколько раньше любимой у жены была передача «Служу Советскому Союзу», настолько сейчас она ее ненавидит.

6 февраля восьмидесят восьмого года мы как раз с друзьями ходили в лес. Костерок пожгли, картошку попекли. И почему-то и у меня, и у жены сердце ныло. Понять не можем, что такое? Что-то с Костей? Но ведь недавно от него письмо было.

Как сын погиб, мне потом ребята рассказали, что вместе служили. Оказалось, Костя все время вперед рвался, чтоб доказать, что он не слабее других, что он не Винни-Пух... Вот и в тот раз три дня упрямился, чтоб послали. Не хотели его отпускать, пока, наконец, начальник штаба не дал «добро». Пошли на трех бэтэрах. Один остался на пригорке, два спустились вниз проверить дорогу. Шли, особо не опасаясь, потому что недавно здесь были наши. И вот два БТРа пошли вниз, и их расстреляли прямо в упор. Костю контузило, но он выскочил, стал вытаскивать товарищей. Один сержант, когда очухался, стал Костю прикрывать. Но тут взрывается БТР, и сына еще раз контузило, а сержанта убило и прямо на Костю бросило. Наши, решив, что в живых никого не осталось, начали отходить. И тут Костя пришел в сознание, выбрался из-под трупов и открыл огонь по душманам, которые подошли вплотную. Ребята услышали, что наш автомат работает, и снова вперед. Когда бой закончился, контуженого сына положили в тень. Вызвали «вертушку». Стали его туда садить, а он отказывается: «Нет, сначала давайте раненых, а я нормально себя чувствую...» Тогда его буквально силой затолкнули в вертолет. И только поднялись, как «вертушку» расстреляли из «стингеров»...

Через пять дней вызывает меня к себе на работе начальник: «Николай Филиппович, зайти...» Я захожу. Смотрю, начальника нет. Стоят какие-то люди – и гражданские, и военные. И один из родственников. Я захожу улыбаясь и сначала ничего понять не могу. Ну, бывает, что приходят военные, технику

просят или еще что. И тут заместитель военкома начал говорить: «Николай Филиппович...» И я сразу понял. Стоял с дурацкой улыбкой на лице. Он говорил, а я ничего не слышал. Просто не «врубался», никак это у меня в голове не укладывалось. Когда все выходили из кабинета, я еще даже какие-то по работе указания давал, хотя думал совсем о другом... Поехали все к жене, она работала на базе снабжения «Агропромснаб». Поднялись в кабинет директора, вызвали врача... И вот Лида заходит, тоже так улыбаясь. Потом увидела меня, военных и сразу все поняла. И закричала: «Это же неправда. Неправда!..» Еще даже ничего не было сказано. Потом ей сделали укол. Но она все равно ко мне: «Коля, скажи, это ведь неправда, неправда...» Все было правдой... Короче, врач у нас дежурил постоянно. И родственники. Словом, жену одну не оставляли.

Гроб стоял в военной комендатуре. И я поехал туда. Там был и сопровождающий. Может, это специально так делали, но он вообще ничего не знал, ничего не мог рассказать... Лида просила гроб открыть, но я настоял, чтобы не открывали. Не хотелось видеть, что там есть на самом деле. Хотелось, чтобы сын остался в памяти как живой.

Народу на похоронах было много. Поселок небольшой, все друг друга знают. К тому же многие знали, что у нас Костя в Афганистане. Что говорили, как выступали, этого я не помню. Был в шоке. На следующий день меня хватил микроинфаркт, и я месяц провалялся. А жена вообще полтора года то в психдиспансере лечилась, то на юг ездила. Там какой-то профессор гипнозом лечил, убеждениями. И вот ее убедил, что жить надо, жизнь продолжается. А до этого Лида сколько приняла лекарств, таблеток всяких – просто кошмар. Не помогало. И работать не могла, постоянно плакала. Придет на работу и с утра до вечера все плачет, плачет. Я к ней за день раз или два обязательно приезжал. Встречает меня, говорит: «Сегодня не плакала». А у самой глаза слезные...

Приезжали ребята, вот Слава Безматеров, командир разведки (кстати, своего сына он назвал в честь Кости). Рассказывал, что Костя был для разведчиков как талисман, с ним все походы удачно завершались, кроме трагического последнего. Я к Славе как к родному сыну относился, поскольку он вместе с Костей был, а вот Лида просто не могла смотреть на него. Даже когда в машине ехали, отворачивалась. Военного увидит – за квартал обходит. Раньше интересовалась, какое звание, какой род войск, а тут даже близко с военным пройти не могла. Напичкана была всякими медикаментами до такой степени, что могла прямо на работе заснуть. Другой раз сама не знала, что делает. А то идет – и вдруг ее поведет в сторону. Ориентации

не было никакой абсолютно. С работы домой придет, две-три таблетки снотворного примет, чтобы забыться, ни о чем не думать до утра. И вот так полтора года – такой кошмарной жизни. Только потом начала отходить от горя...

Впрочем, она и сейчас сына ждет. Идет ли куда, едет ли в автобусе – осматривает салон, бросает взгляд по сторонам: нет ли Кости...

Это было наше солнышко...

Ольга Александровна Евлакова, мать погибшего в Афганистане офицера-вертолетчика Андрея Евлакова:

– Маленькая жизнь у него была – двадцать три года всего...

Когда Андрюша погиб – вы знаете, это дико, ненормально, но я так смеялась в тот день. У нас на работе проходил семинар, приехали профессора из Горького, и я не знала, что со мной. Так глупо, беспричинно смеялась, какой-то лихорадочный, безостановочный смех был... Потом женщины говорили: она насмеялась на всю оставшуюся жизнь.

Он был у нас единственный – это было наше солнышко. Никогда и ничем нас не огорчил. И когда погиб – у нас все кончилось. Вся наша жизнь... Вот в серванте стояла его фотография – из Афганистана прислал. Как-то пришла с работы, взглянула на нее и... очнулась уже на полу. С тех пор я его фотографии не видела – уже больше пятнадцати лет. Не могу! Мне кажется, если будут смотреть на меня его родные глаза – я не смогу жить!..

Несмотря на все трудности нашей жизни, мы были очень счастливой семьей. И очень гордились сыном. У нас по соседству жила женщина-преподаватель. Как-то она подошла ко мне, взяла за руку и говорит:

– Как я вам завидую.

– Завидуете? Чему же?

– Какой у вас красавец сын. Какая умница. А как он к вам относится. Мы всегда с мужем стоим и любимся: какой у вас потрясающий мальчик...

Так тогда меня это признание поразило, ведь эту женщину я практически не знала.

Я никогда не старалась сделать из него вундеркинда – зачем? Учился нормально: не был ни в троечниках, ни в круглых отличниках. Во дворе любил побегать. Порой придет домой весь чумазый, а мне нездоровится – так сам себе штаны постирает. И позже, девятиклассником-десятиклассником, многие хозяйские хлопоты на себе тянул – мог и пол помыть, и в магазин сходить. Не терялся в быту... Увидит, что я с работы возвращаюсь, тут же подбежит, сумки схватит, ридикюльчик, в щеку поцелует, приобнимет или под руку возьмет. Маму встретил!..

Никогда не позволял себе уйти из дома, не оставив записки – когда вернется. Крайний срок – десять вечера. Взрослым уже отца уговаривал: «Пап, а «наркомовские»?..»

«Наркомовские» – это полчаса дополнительно. В половине одиннадцатого выйду на балкон – он уже несется со всех ног. Единственный раз в жизни опоздал на три часа, когда занимался велоспортом и у него на тренировке прокол случился. А потом и запасные трубки полетели. Так он почти двадцать километров бегом бежал. С велосипедом на спине. Знал, что я беспокоюсь, волнуясь – пришел весь в пене. И не из-за страха наказания это, а просто внутренняя потребность была – не расстраивать родных.

Помню, отец в Калинин учил его плавать:

– Андрюша, ты по течению плыви, вдоль берега. А он:

– Пап, да что все вдоль берега да вдоль берега? Да мы уже на ту сторону Волги плавали.

– Что-о?

– Там капустные поля. Вот мы с мальчишками туда и дергали. Вилку ломаешь и толкаешь его в воде перед собой. Как мяч в водном поло.

Я, конечно, обомлела. Да и муж дар речи потерял. Там ведь у Волги берега крутые, обрывистые...

За свою жизнь я пережила две войны. Муж – офицер, служил в боевом полку дальней авиации. Бесконечно в командировках. Жили в гарнизоне. Вот сидишь вечером дома: вдруг сирена завывала, машины заносились. Тревога! Тревога! Шум, гвалт, дети у всех проснулись, пищат, к матерям в подола бегут. Мужчины наши скорей хватают чемоданы – пошли. И вот ушли они, и не знаем, когда вернутся. Или это настоящая война, или просто учебная тревога. В штаб придем, спрашиваем:

– Где наши мужья?

– Живы-здоровы, – только и ответят. – Ждите.

Так и в Египет забирали. Всю дивизию перекрашивали: звезды смывали, наносили на хвосты арабские знаки... Андрюшеньке тогда было пять лет. Ребята вернулись из Африки, привезли сыну от отца подарки: пистолеты игрушечные, пулеметик. Спрятали все это в боевом самолете, чтоб никто из проверяющих не обнаружил... Пришли к нам, рассказывают, хотя ничего нельзя было говорить:

– В гостинице квартировали. Только выехали – всю ее разбомбило...

Одного этого достаточно, чтобы понять, что там война. А у меня малый ребенок на руках. И повоеешь, и все углы сосчитаешь, белый свет не мил.

С одиннадцати месяцев он у меня был в яслях. А на работу ездить далеко. И вот тащишь ребенка – километр пешком по бетонке. Потом на трамвай. А в руках сетка с продуктами, сумка с газовыми баллонами

ми, потому что надо на чем-то готовить. Дотащишь коляску до проходной – она вся в копоти.

Когда я родила сына, а роды были очень трудные, врач сказал мужу: если будет еще беременность, потеряете или ребенка, или жену. Вот на второго мы и не решились.

Как Андрюша подросток, отец часто его на аэродром брал. Все расскажет, все покажет – и кабину летчиков, и люк, где даже в волейбол можно играть. Сын всю эту махину самолета своими руками потрогает. Сверху на землю глянет:

– Ух ты, мамочка!..

Домой вернется, не остановишь его восторги, глаза горят от впечатлений.

И все же мы хотели, чтобы он был гражданским человеком. Потому что в армии, к сожалению, далеко не всегда в командирах ходят умные люди. Если человек неугоден, его нужно или уволить, или продвигнуть по службе, чтобы не мешал другим. Такая вот странная политика. Так было, так, наверное, и сейчас. И муж через все это прошел, через такие парадоксы. Потому и говорил сыну:

– Ты умный, у тебя есть задатки. Все для тебя открыто. Заканчивай гражданский вуз, занимайся творчеством. А армия... Она все равно ограничена уставом. Устав есть устав. И неизвестно, какой тебе командир попадет. Попадет в начальники дурак, и ты будешь волей-неволей под него подстраиваться. И никуда не денешься, присягу же принял. Или подчиняйся, или вылетишь с позором.

Это сейчас все проще: хочешь – служи, не захотел – ушел в запас, а раньше было очень сложно. Практически невозможно было по-хорошему уволиться из армии.

Но Андрюша стоял на своем:

– Послушай, пап. Прадед у меня был военный, русский офицер. Дед – русский офицер, отец... Что же мне – по другой дороге? Нет, невозможно.

И я не отсоветовала, все равно не смогла бы его переубедить. Уж очень патриотически мы его воспитывали. Хотя и отношения были доверительные, товарищеские. Когда школу окончил, могли до трех часов ночи с ним разговаривать или гулять. Все-все мне рассказывал: и что наболело на душе, и с кем какие отношения, и кто из девушек нравится.

Когда подошло время сдавать выпускные экзамены, я серьезно заболела, слегла в больницу. Отец с утра до вечера на работе. Напишет ему, что нужно купить – он купит. Надо приготовить покушать – приготовит. Полы вымоет. Отец вернется: книжки в закладках, билеты раскрыты. И записка: ушел погулять до 10 часов. Ладно. Только через пару дней стал замечать: билеты-то не меняются, один и тот же раскрыт. Спрашивает:

– Андрюша, это как понимать?

– А что готовиться, я и так все знаю.

– Ну, смотри...

Первый экзамен. Возвращается – пять! Второй экзамен – снова пятерка. Тут отец и говорит:

– Еще раз будет «отлично», упаду со стула. Ты же совершенно не занимаешься...

Через два дня сын приходит с очередного экзамена, влетает в комнату и кричит:

– Пап, падай со стула.

– Что-что?

– Ты же сказал, что упадешь со стула...

– Неужели снова пять?

– Пять!

Появится дома, потом бежит ко мне в больницу: показывает через окно, что все нормально, сдает экзамены на одни пятерки...

Поступил в наше Кировское вертолетное училище. Потом по распределению попал в Германию, в боевой полк. Потом в Грузию. Писал оттуда с восторгом:

– А вы знаете, что такое южная ворона? Какая она умная. Берет в клюв орех, летит над бетонкой и бросает его с высоты. Если не расколосся с первого раза, поднимается выше и снова бросает. Обязательно добьется своего. Когда орех расколется, степенно выклеивает мякоть.

Он очень торопился жить. В Грузии женился. Едва сыграли свадьбу – полк перебросили в Афганистан.

Преступники наши правители. Преступники! Сколько крови на них! За что сгубили столько сыновей? Столько человеческих судеб разбито...

Его вдова долго не выходила замуж. Сейчас у нее двое детей. Первого сына она назвала Андрюшей, второй родилась девочка. Все как у людей, но это не наше. Не наше! У нее своя семья, свой муж. А у нас ничего не осталось. Ничего!

Он был нашим солнышком. Столько на него надежд возлагали. Я, когда болела, говорила:

– Сынок, случись что, ты папу не оставляй.

А он:

– Мам, ну что ты говоришь...

И я знала, что одна не останусь. А сейчас... Страшно. Родите побольше детей. Жить без будущего – это очень страшно. А когда приходит старость и наваливаются болезни – невыносимо...

Ничего, что могло бы меня расстроить, он не писал. Мол, все нормально, служба как служба. Хотя я и знала, что там война.

Однажды их направили в Союз, в профилакторий. Подлечиться, отдохнуть. Но ни один человек не остался отдыхать в санатории, все сразу же разлетелись по домам. И Андрюша приехал. Со мной все больше о здоровье говорил, о своих друзьях расспрашивал. А вот отцу, когда вышли вдвоем поку-

ритель, жуткую вещь рассказал. Как афганские женщины и дети забивали наших раненых солдат.

Отец к нему с советом:

– Андрюша, может, тебе списаться с летной работы? Будешь на земле...

А он:

– Но если не я, то кто? Мы же с тобой всю жизнь в небе. Нет, я должен делать свое дело. И за погибших ребят отомстить.

Пока жива, постоянно буду себя казнить, проклиная – я ведь сына проплакала в его последний приезд. Настолько остро переживала, что он возвращается в Афганистан – слышаны уже были об этом Афганистане – вот слезы остановить и не могла. И он, видимо, что-то чувствовал. Дошел по летному полю до самолета – все поднимаются, а он все стоит, все стоит. Нам машет. Последним по трапу поднялся... До сих пор вижу: вот самолет уже на взлет пошел, а в иллюминаторе его кудрявая головенка торчит. Слово тоже с нами навсегда прощася.

Он сильно переживал, что у них вертолет неисправен. Полетел с чужим экипажем. И их «стингер» достал...

Когда мне сказали о гибели сына, просто каменная была. Очень долго не плакала. Потом попала в онкологию, меня оперировали. У мужа тяжелейший инфаркт, тоже лежал в онкологии. Нас даже оперировал один хирург.

Много лет жил у нас той-терьерчик Ладошка, которую Андрюша очень любил. И когда он погиб, у Ладошки даже слезы были...

Когда Андрюшу привезли, вся школа пришла прощаться. Гроб поставили в Доме офицеров – нельзя, видимо, было в училище, чтобы не давить на курсантов морально. Так весь зал, вся лестница были заполнены, по улице невозможно было проехать...

Нам не дали на памятнике написать, что сын погиб в Афганистане. Военком специально мужа зывал:

– Гера, понимаешь, нельзя писать. Меня подведешь... Я должен это дело контролировать. Есть директива генерального штаба, где предписано, как писать на памятнике: погиб при выполнении боевой задачи.

Но мы все равно написали: погиб при исполнении интернационального долга. И место оставили. Чтобы со временем дописать – в Афганистане. Но потом так и не стали ничего поправлять.

Первые месяцы я не могла сидеть без дела, не могла остановиться, иначе просто можно было подвинуться умом. Вот поставлю доску, глажу и вдруг чувствую тепло, словно кто-то рядом стоит. Вздрогну, осмотрюсь: нет никого. Что это, совсем с ума схожу? Потом снова, как будто мне кто-то руку на плечо положил...

Год мы вообще не могли смотреть телевизор. Ко-

щественно это – смотреть какие-то развлекательные программы. Потом стали включать новости.

Мне сорок девять лет было, когда погиб Андрей. Всякие рассматривали варианты выживания. Думали даже ребенка взять из детдома. По возрасту еще успели бы его поднять, только вот здоровьем я никогда не отличалась. Не собрать бы нам нужных справок.

А как щадили, берегли меня на работе. Просто потрясающую заботу проявляли. Вот пожилая работница подходит:

– Ольга Александровна, ты уж прости меня, неграмотную, может, я что не так присоветую. А ты все же попробуй. Знаешь, как водичка помогает? Так ты попробуй поговори с водичкой, потом умойся ей...

И к мужу тоже внимательны были. Одна женщина ему советовала:

– Герман Федорович, когда вам плохо, думайте о том, что есть люди, которым еще хуже. Вот я расскажу об одной матери. У нее старший сын погиб. Муж утонул. Забирают младшего сына в армию. Как уж она просила, как просила: оставьте хоть его со мной. Нет, забрали, послали в Афганистан. И он там погиб. И вы представляете, она в разлив, в ледяной воде идет по грудь, переходит проток, чтобы только попасть на кладбище...

Через год после гибели сына у меня пятидесятилетие, а я все еще невменяема. Даже мыслей не было, чтобы юбилей отмечать. А тут прихожу на работу и чуть в обморок не падаю: шесть ведер с цветами. И розы, и полевые цветы. И все несут, несут... Я даже подумала: «Боже мой, я что, умираю?» Наверное, не было ни одного рабочего, который бы не принес цветы.

Очень я и афганцам благодарна. Помню, телевизор сгорел. А муж после онкологии, после операции. Ему бы чем отвлечься. Вот и проболталась я по-свойски Володе Климову, руководителю ветеранской афганской организации. Повела ему о нашей проблеме. И на очередном собрании афганцы нам вручают телевизор. Так мне тогда было неудобно, неловко – не нищие же, может быть, кому-то из детей такой подарок больше нужен. Ребята из Союза ветеранов Афганистана и материально, как могут, помогают, и морально. Спасибо им за заботу!

Мы всегда любили книги. Много читал и сын. В детстве очень любил «Маугли», даже, будучи офицером, перечитывал эту книжку. Нравился «Спартак», произведения Джека Лондона... И вот отошли мы немножко от горя, я одну книжку купила, потом вторую. А муж мне говорит:

– Знаешь, книги покупают для будущего, чтобы оставить после себя кому-то. А нам с тобой оставлять некому...

Так мне стало не по себе: действительно, на что они нужны? Кому? Дикое состояние: когда погибает ребенок, погибает и надежда.

Преступление века – эти локальные войны!

Андрюша, сынок единственный... Это было наше солнышко. Наше розовое облачко, уплывшее по небу далеко-далеко... Я вспоминаю его молодым, красивым. Наши удивительные отпускные дни на Быстрице. Какими мы были счастливыми, веселыми. Как нам было хорошо. Сейчас, проезжая те места, я не могу смотреть в сторону этого берега, этой реки. Просто закрываю глаза: настолько больно, настолько горько. Я очень не люблю весну, когда просыпается природа, когда все говорит о начале новой жизни. Не люблю потому, что столько молодых и красивых парней ничего этого не видят, столько невинных душ загублено из-за каких-то сволочей. Ладно, мы отжили жизнь, но дети-то наши за что погублены? Вы походите по кладбищу – ужас, сколько за эти пятнадцать-двадцать лет там похоронено совсем молодых ребят. За что они отдали свои жизни, за что?

...Наше горе всегда с нами. Мы все выходные, все праздники начинаем с кладбища. Летом садимся на колеса и ездим к Андрюше по три раза в неделю. Зимой – каждую субботу. Только болезни ограничивают наши поездки...

Мы живем там, на кладбище. Пятнадцать лет там живем!

Двоим останемся – режем во всю матушку...

Мария Павловна Лялина, мать погибшего в Афганистане десантника Александра Лялина:

– Не дай бог никому своих детей хоронить. А мы двоих похоронили. Не приведи никому этого. А нынче – сплошь да рядом. В Чечне сколько гибнет...

Пошто раньше такого не видели? Суровые законы были, так никаких черных не знали. Потом Союз миленький продали – и все из-за чего... Мы-то, старики, уже на пенсии, наша жизнь не долга. Может, проживем год, может, не проживем – не ведаем. А людям-то как жить – молодому-то народу? Горе же большое кругом. Вот и в совхозе нашем все пропили да разворовали. Молодежь и уезжать не уезжает, и работать не работает. Ходят взад-вперед: где-то что-то украдут, если рот разинь, или кому дрова распилят, расколуют – так и живут. Только воровать надо да пировать... И я куда поеду – дети у меня здесь, дом свой, Сашка с Васькой и отцом их похоронены. Так что и мне здесь пропадать. Что мне теперь, кто чем поможет?

Сашка двадцать третий год на кладбище лежит и не видится мне во сне уже давно. Никак не снится. Бывало, и полежу, и всяко подумаю, и посередке ночи пробужусь – нет. А раньше все маленьким снился. То он корову погнал, то по корову пошел. Или поесть его уговариваю, а он отказывается... Тогда же, в восемьдесят первом, такой сон видела: около избушки нашей в два окна соседка с пакетом остановилась и заявляет:

– У вас Сашу убили.

– Ой, да ты что мелешь-то?

– Точно говорю.

– А в пакете что?

– Документ похоронный.

И протягивает этот пакет. А я руку отдернула и пробудилась. Хозяина своего и Ваську, младшенького, будить не стала, утром уже им сон пересказала. А чтоб не тревожились, добавила: «Да у меня сны не вещие, не сбываются. Неправда это...» А три дня прошло, и мы все узнали.

Сына-то уже домой поджидали, и я в тот день прибираться в избе надумала. А тут заходят председатель сельсовета и врач. Я им говорю:

– Не пужайтесь, что такой непорядок.

А они в ответ:

– Мы-то не испугаемся. Только и ты нас не пугайся. Крепись, мать...

Гроб недолго ждали – привезли на летучке на второй день. Открывать не дозволяли, а мы не послушались, не поглядели на запрет. В окошко видели, что это Сашка, но знать хотели, где изнахраченный. Молодежь пришла, его же товарищи, пособили.

Руки у него не было. Лицо, голова – все разбито. Затылочная часть железной связана. И не оболоченный совсем, босиком – ботинки рядом сунуты, одежда военная сверху... Потом уж сообразили: надо было в магазин сходить, костюм купить да положить, а тогда растерялись. Никто не подсказал. Только коленкором его закрыли и все. Апрель на дворе стоял, еще холодно, и он ничего, хорошо сохранился. А вот у соседки, когда сына из Афганистана привезли на четвертый или пятый годок после нашего и окошко на гробе открыли, так червяки сразу поползли, точили уже вовсе бедного.

Обратно мы цинковый гроб не запаивали – сделали еще свой, деревянный. Обшили красным материалом – сельсовет выделил. И до кладбища на руках несли, под военный оркестр.

Восьмерых я родила: Валентину, Толю, Нину, Колю, Витю... Сашка уже шестой был, а после него еще Люба и Вася.

Трое последние – уже здесь, в Порезской родилке, а первенцы – с акушеркой на дому. И крепкие все были, не баловали. Семья дружная, хоть и

жили трудно. Иной раз купишь килограмм конфет-подушечек да килограмм печенья – все, опять до очередной полочки никакого лакомства. Молоко да хлеб с сахарным песком – вот тебе и пирожное. Отца побаивались – войдет в избу, так они уже шепотком разговаривают. А останутся со мной – и подурят, и подекуются. Иной раз не выдержу, возьму ремень и попеременке драчунов шоркну. Работу тянула, на дворах стряпала, телят кормила – все ребята мне помогали. Разбужу их в полшестого: вычистят все, корму натаскают к колодам, прибежат домой позавтракать и в школу.

Сашку еще особая аккуратность отличала. Увидит – там чья-то одежда раскидана, тут штаны или майка валяются – обязательно подберет, чтобы не было захламленности. И говорливый был очень: идет по деревне – и старику, и молодому найдет что сказать. Каждому в семье прозвище давал. И поприставляться любил, поприсмехать. Идем со дворов по зимней тропке, толкнет нежданно в снег.

– Саш, да отступись ты ради бога дуреть-то с матерью...

– Что? Как ты можешь участкового ругать?

Это у него такая дальняя мысль была – на милиционера выучиться. А ближняя – на тракторе поездить. В школе даже год себе прибавил, чтобы права получить. В летний сезон на «Беларусе» в торфотряде работал. Потом уже перед армией на шофера выучился. Дали ему машину старенькую, ломкую. Приедет под окошко, кричит:

– Мам, есть ли у нас мука в середнике?

– Есть. А тебе зачем?

– Да радиатор бежит. Муки брошу, так хоть течь меньше будет.

Парни уже зарабатывать стали самостоятельно, но особо никогда деньги не тратили. Один кошель у нас был. Куда пойдут, спросят. А я в ответ:

– Так посмотрите в чайнике заварочном. Есть – берите, а нет – значит, нет...

Когда в армию провожали, об одном просили: «Сашка, ты, главное, пиши». И из Витебска из учебки письма его регулярно ходили. Рассказывал, как с парашютом прыгал – «нормально», как одного парня не могли от перил оторвать – так боялся. К осени же как отрезало. А по радио передают: в Афганистане война. И вот останемся мы вдвоем с отцом – младшие в школу уйдут, – режем во всю матушку.

Как-то сноха позвонила:

– Мама, что делаете?

– Сидим, режем.

– Почему? Что случилось?

– Сашку в Афганистан отправили...

– С чего вы взяли?

– Сердце чует.

Долго писем не было, вот и написала я командиру.

Вопрос задала: почему сын молчит? Сашка и ответил: «Мам, я ведь не дома. Нельзя нам писать, что в Афганистан увезли. Не переживай. До весны доживем, тогда уж домой приду».

И после писала не единожды: «Сашенька, как твоя служба? Что у вас деется?» А он в ответ одно: «Мама, я не дома на печи. Не спрашивай больше...»

Потом желтухой заболел, и его отправили в Союз, в госпиталь. Попросил, чтобы мы телеграмму ему послали. Мол, болеют родные тяжело.

Пошла я тогда в больницу, упростила: «Запишите меня временно в тяжелые больные. Сына хочу повидать».

Отправили заверенную врачом телеграмму, Сашку и отпустили. На восемь деньков. Пролетели они – как и не было вовсе. Собрался скоро в обратную дорогу, а мы с отцом опять в рев во всю матушку. Так и рассталось, оказалось, навсегда.

...Как погиб – не знаю доподлинно. Говорили, что поехали они куда-то и на мину наскочили. На взрыве всех покалечило. Двадцать лет и два дня ему тогда было...

В Порезе из Афганистана Сашкин гроб первый был. Через пять годков привезли Раиноного сына. Потом одного Солодова, второго Солодова... Четыре человека погибших на 700 жителей села!

Васька, сынок последний, мог в кремлевском полку служить. Но сам настоял: «Хочу в Афганистан!» Я уж и писала, молила: не посылайте. А эти письма как-то ему в руки попали, он и ответил: «Мама, я никого не спрашиваю, сам вызвался, по своей воле. За Сашку мстить. Погибну – значит, такая судьба, а не погибну – домой вернусь».

Двадцать восемь раз ходил он на боевые операции – так в документах записано. Выжил на войне, а смерть дома нашел – поехал с товарищами на рыбалку. И хозяина в 1997 году не стало – рак привязался. Теперь живу одна – тоскливо больно вечерами...

Ездил как-то на встречу на День матери – собирали родителей погибших ребят. Дали по чашке да по варешкам. Потом еще по тысяче рублей привозили. Ребята-афганцы – привет им большой – не забывают, помогают деньгами. А больше никто не давал ни копейки. У сельсовета, еще когда хозяин был жив, попросили с дровами помочь. Отмахнулись там: покупайте на свои деньги. А сейчас, когда совсем порядка не стало, может, чего и вырешено в нашу пользу, так себе же пригарабают...

Эх, такая жизнь пошла: не хочешь, да заплачешь – во всю матушку!

Ребята его звали Соловьем.

Лидия Ивановна Лысова, мать погибшего в Афганистане мотострелка Александра Лысова:

– Гроб привезли – без права вскрытия. Офицеры с солдатами – как бы чего не вышло. Муж долго сопротивлялся, просил – надо бы открыть. Нет, не дали... Говорят, в Малмыже случай был: приехали сопровождающими всего двое военных. Их родители и родственники оттеснили – вскрыли самовольно. А там... Смотреть не на что. И запах. Все разбежались – как хоронить? Муж рядом с гробом ехал – ни окошечка, ничего. Только отверстия – через них запах горелого мяса чувствуется. Вот только гроб привезли да комсомольский билет вернули.

Никаких отпеваний нельзя было делать, на памятнике – никаких крестов. Дали тысячу на похороны – укладывайся как хочешь. Пятьдесят рублей еще возвращать пришлось.

Вспоминается мне Саша маленьким – лет десяти-двенадцати. Сидят вместе с бабушкой, какую-то передачу смотрят и смеются. На всю комнату, во весь голос.

С бабушкой у него очень хорошие отношения были. В карты частенько играли в дурака. Приду с работы, мама жалуется:

– Смотри-ка, парень все время меня обыгрывает. Обманывает, наверно.

– Так ты нашла с кем играть. Он у тебя все карты высматривает.

А она сидит на стуле, а Сашка вокруг нее носится, скачет. Все высмотрит – как тут не выиграть.

Всегда для него и главной защитницей была. Как-то, когда уже большим был, с отцом что-то поскадалили. Муж – за ремень.

– Папа, ничего у тебя не выйдет.

– Выйдет.

– Попробуй.

И действительно, ни разу не смог приложить. Тут и бабушка свое слово вставила:

– Я тебе дам ребенка забижать.

Когда в армию уходил, бабушке наказал: смотри не помирай, обязательно дожидайся меня. Еще с моими детьми будешь нянчиться.

Она на одиннадцать лет внука пережила. Когда узнала, что погиб, – ее инфаркт хватил. Долго в реанимации лежала...

Жили мы в однокомнатной квартире – 14 метров жилплощадь. И Саша – не первый ребенок, еще дочь Татьяна, она на 5 лет старше. Мужу очень хотелось мальчика. Когда пошла рожать, он и говорит: если снова девочка будет, не пушу домой! Утром узнал: сын! Доволен, конечно, но бабушку все же напугал. Сказал, матерясь:

– Родила двух девок.

– Ой, ой!

Потом пришлось успокаивать:

– Да соврал я, мама. Парень, парень.

А она долго еще не верила.

Муж на гармони хорошо играл и сыну маленькую гармошку купил – играй. Тому два годика, а ходил, наигрывал. Из любимых игрушек еще железная дорога. Первый класс кончил, отправили его в пионерский лагерь. А тогда холера была. Ограничения во всем. Сын потом рассказывал:

– Пойдем в поход, чайник кипяченой воды возьмем на тридцать человек. Жарко. Пить хочется. По глоточку дадут, и все.

Приедешь навещать: одна просьба – заберите домой, заберите, больше не могу. Потом, когда лыжами занимался, поехал с секцией летом в спортивный лагерь. Однажды приезжаем проведать, видим: бегут грязнушки после дождя. Потом сами стирают, сами сушат вещи. Отец говорит: лучше все же в пионерлагере. А Сашка ни в какую: нет, не поеду туда, лучше сам здесь все стирать буду...

В школе учился, все самый последний стоял. А в училище такой длинный вырос. Выше отца.

Гитара у него была, магнитофон. Дома не пел, а вот в лагере с удовольствием. Его друзья даже Соловьем звали... От старых приемников динамики наберет, по всем углам развесит. Придешь с работы – со всех сторон гремит. А вот к гармонии тяги не было, хотя отец его и заставлял учиться.

Проводы дома делали, до трех часов ночи музыка. Отец на кровати лежал, заснуть пытался, да где там. От грома колонок его даже подбрасывало. И соседка приходила:

– Саш, скоро ли это закончится?

– Скоро-скоро.

Утром на дорожку ему две бутылки пива купили – любил Саша пиво. А в военкомате их конфисковали.

Он не писал сначала, что в Афганистане. Южнее, мол, Ташкента – город Шинданд. Мы по карте начали искать. Нашли – это уже не Советский Союз.

Служил мотострелком во внутренней охране аэродрома. Потом банщиком. Писал: не волнуйтесь, нас кругом десантники охраняют. Две маленькие пленочки переслал, где снят в хэбэ и панаме. Отец ему еще заметил однажды: форма-то у тебя, сын, какая-то оккупантская.

На службу не жаловался, только с одним старшиной у него не ладилось. Писал, что тот сюда на заработки приехал.

Год и одиннадцать дней был сын в Афганистане. Погиб в мае восемьдесят четвертого. Друзья узнали, пришли, взяли Сашину фотографию. И в пивной бар помянуть с ней ходили. Мол, Сашка пиво любил...

Теперь вот у нас внук Саша растет. Дочка так назвала – в честь погибшего брата.

Это мы, Господи! (вместо исповеди)

Как это непросто: постигать истину, что всякая война несет с собой не только потери материальные, видимые даже беглому взгляду: взорванные жилища, оскверненные очаги и могилы, изуродованные дороги. Она несет – и, может быть, это разрушение самое страшное – опустошение души. Человек, который взял в руки боевой автомат, человек, палец которого привычно застыл на спусковом крючке уже пристрелянного, опробованного в деле орудия убийства, уже отличен, и очень разительно, от того, кто после школы пришел в студенческую аудиторию штудировать механику грунтов или выводит на поля трактор. Я не верю, что убийство, пусть и во имя каких-либо добросовестно вдалбливаемых в нас целей, проходит без следа, что это так же просто сделать, как съесть котлету или прочесть книжку. «Убей – и ты станешь духовно богаче», – эту несуразицу, глупее которой трудно придумать, мы отвергаем с порога. Но почему же тогда редко задумываемся над обратной мыслью: убивая другого, мы убиваем, безвозвратно калечим и себя?

Человек возвращается с войны, принося на «гражданку» свою шкалу ценностей, свое понимание добра и зла, свою правду, нередко обнаженную до простоты. Она, как железо по стеклу, скребет сердце, холодит душу страхом и отвращением. Словом, она такая, какой в крови, в соплях и столах родила ее война. Но нам, не отрывавшимся от «гражданки», эта правда чаще всего бывает не нужна. И поэтому мы усиленно втискиваем ее в наши «мирные» рамки устоявшегося, приглаженного, тщательно подчищенного представления о том, что там, на войне, происходило и происходит. Так спокойнее жить – выбирая добровольное незнание, а точнее, полужнание. Вот и плодится, гуляет по свету «пионерская» правда, набивая оскомину и воспитывая равнодушие.

До икоты, до стойкого неприятия наслушался я в свое время этих припудренных, обкатанных цензурным приглядом кругляшей афганских рассказов. Даже написал пару очерков, где наши ребята – сплошь герои, а «духи» – исключительно сволочь и мразь. Пока не выпал случай познакомиться с Юрой Михеевым, в прошлом старшим сержантом ВДВ, заместителем командира взвода разведки. Впрочем, и этот наш разговор начинался традиционно – с боевых операций, удачных и не очень, пока кривая не вывела на ошеломительные просторы доселе скрытой от меня правды об Афгане...

– В Афганистан я прибыл в октябре 1985-го, а где-то в конце ноября или в начале декабря была крупная операция в Панджшере. Там два ущелья пе-

ресекаются. Поэтому это место называется «крестом». Туда и десантировался наш полк. Для роты эта операция началась с того, что нас накрыла своя же артиллерия. Вечером мы прошли мимо батареи, где-то еще с километр протопали и залезли в дом ночевать. Утром стали завтрак готовить, костер разожгли. А они увидели дымок и дали залп. Двенадцать человек у нас сразу полегло: двое убиты, остальные крепко покалечены. Потом нас отправили вверх по ущелью. Шли всю ночь, попали в засаду, еще двое погибли. Вот с этого момента, как нас стали убивать, мне стало страшно.

– Ты помнишь первого убитого или раненного на твоих глазах товарища?

– Помню, конечно. У парня ногу оторвало, и я ему накладывал жгут. А у него кровь хлещет, белая кость торчит. Но он почему-то не кричал: лежал, матерился, проклинал все на свете... Не знаю, может быть, я какой-то черствый человек, но я на эти вещи смотрел спокойно. Хотя противно, конечно: кровь, мясо, эта белая кость.

– А случалось кого-то выносить?

– Да, вот на той же операции. Уничтожив засаду, рота пошла дальше, полезла на горку. А из нас, пятерых молодых солдат, организовали группу выноса. Убитых же не бросают. И вот мы вечером впятером понесли этого убитого товарища и должны были за ночь по ущелью пройти 15 километров... Ощущения той ночи незабываемы. Тропинка узкая, горная, по ней и одному-то трудно идти, а тут премся скопом, каждый за край плащ-палатки тащит. А «духи» постоянно сверху из гранатометов «долбят». Парень, что наши автоматы нес, убежал километра на два вперед, а мы, безоружные, шарашимся сзади. Впрочем, от усталости было уже полное безразличие ко всему.

– Когда идешь на боевые, сколько на тебе груза?

– Килограммов пятьдесят, наверное. Вот боевой жилет, я сам его сшил, в нем шесть магазинов, две гранаты, две сигнальные ракеты и пирофакел, индивидуальный пакет, жгут. Патронов 300-400 в рюкзаке. Туда же кладешь три гранаты, сухпаек, теплую одежду. Я валенки зимой все время с собой носил. Потом спер белый офицерский тулуп, тоже тащишь... Когда в гору лезем, надо воды набрать. Заполняешь всю посуду, какая есть. Или вот каска: старались ее не носить, надевали лишь тогда, когда начальство заставит.

В общем, там такой был закон: кто что найдет или где-то «свистнет», то тем и пользуется. Вот у меня есть снимок: на нем нас и солдатами не назовешь, стоим кто в чем, как банда.

На боевые идем: кто-то в кроссовках, кто-то в ботинках. Потом повезло: нашли вещевой «духовский» склад. Понабрали себе танкеров,

американских пуховых спальников. У нас и свои спальные мешки были, ватные, но они килограммов 20 весом. Зачем такую тяжесть таскать? А эти и легонькие, и теплые...

– А как с едой?

– На боевых сухпайками почти не питались. В кишлак зайдешь, куриц настреляешь или бычка завалишь. Потом зажаришь и съешь... Но, случалось, по трое суток вообще во рту ничего не было. Одну воду на костерке вскипятишь, кипяточек попьешь. А то и совсем без воды сидели... Вот один случай в памяти. Мы на Кундузе стояли, жара градусов 70. А воды нет. И у меня во взводе один солдатик-первогодок умер от жажды и жары. Сначала с ума сошел, потом умер. Он еще с вечера плохо себя почувствовал, когда остановились мы на ночлег, начали из камней палатку выкладывать. Видим, он камешки маленькие носит. Еще и тыркнули его: чего, мол, филоносишь. На следующий день прошли по хребту километров пять, сели отдыхать. Тут он вообще замумирал, сознание потерял. Сделали капельницу, а он очнулся, схватил одного пацана за горло и давай душить. Еле отодрали. Утихомирили его, раздели, разули, а он босиком по камням вниз чесанул. Догнали, опять уложили. Вроде бы забылся парень. Вызвали вертолет. Но пока несли на «вертушку», он уже умер... Тогда в полку, по-моему, три человека вот так умерли. Вот отправили парня и какой-то колдунец скоро откопал. Там даже не вода была, а жидкая грязь. Но всем все «по фигу» – прямо в грязищу уткнулись лицом.

– И не боялись подхватить желтуху или малярию?

– Там нам давали прессованные такие таблетки, что-то типа хлорки. И вот этой «водички» напьешься, пару таблеток заглотишь – и вперед.

– Какие еще операции в памяти?

– Операций было много. Помню, когда срок моей службы уже подходил к концу, десантировали нас на Джелалабад. Там рядом с границей был учебный центр душманов, где готовили гранатометчиков. А перед долиной укрепрайон, который никак не обойти. Десантная бригада из Джелалабада штурмовала его целый день – не могла взять. А мы по хребту, по тропе туда залезли и без единого выстрела захватили, перебили всю охрану, остальные разбежались. И нам досталась большая часть трофеев... Словом, вышла очень удачная операция, пошли разговоры: всех участников представят к орденам. Но тут в полку случились неприятные нюансы: два «товарища» кому-то в кишлаке продали пулемет, а местные кагэбэшники их попутали. Командира полка, понятно, после этого срочно вызвали в Москву. А нам всем награды зарубили... Кстати, о наградах. Вот перед армией у меня такое было: едва увижу, что идет солдат с орденом, как сразу хочется перед

ним вытянуться. Как же, воевал товарищ! А теперь... Вот был у нас в полку начальником хлебозавода парень моего призыва. Так он и автомата в руках не держал, просидел полтора года в теплом месте, покомандовал солдатами... и получил медаль «За отвагу». Или возьмем старшину строительной роты, который вообще за ворота не выходил, – ему тоже медаль дали. Спрашивается, за что? И вот я, имеющий медаль «За отвагу», сопоставляю сейчас себя с ними или даже с теми, у кого ордена. А орден порой как давали? Допустим, ранили тяжело парня или упал он вместе с машиной в пропасть – пожалуйста, посмертно орден Красной Звезды. А ведь человек в принципе ничего особенного не совершил. У нас у ребят по два-три ранения было. И что – уволились без наград. Из моего призыва только трое и были награждены. Короче, там можно было служить без всяких «залетов», ничего героического не совершить и вернуться домой с медалью. Очень много таких случаев было.

– Вот ты начал говорить о торговых сделках с местным населением. Как часто это случалось?

– Постоянно такое было. Продавали все. И то же оружие, и обмундирование, и муку с хлебозавода. Привезешь ее на рынок и прямо мешками, оптом сдаешь... Вот я в Баграме служил, там рынок большой. Идешь в патруль, и если с тобой кто-нибудь из комендантского взвода, то прямо в БТР все это нагружаешь и прямиком на базар. Там купцу продаешь. Это потому делали, что деньги нужны были. Потом на них шмотки хорошие покупали, водку.

– И сильно пили?

– Да не то чтобы сильно. Я вот, может быть, за службу раза три выпил. Хотя на рынке продавалась и русская водка в литровых бутылках, и армянский коньяк. Да и там, пожалуй, все, что пожелаешь, можно было купить, вплоть до вертолета. Если сегодня нет, продавец непременно скажет: «Приходи завтра, и все будет». Словом, при желании можно было частенько употреблять спиртное, просто я к этому не стремился.

– А наркотики?

– Наркотики... Да у нас в полку процентов 70 анашу курило. И во взводе курили. Брали там же, на базаре. Да наркотика там везде много. Конопли много посажено.

– А сам пробовал?

– Пробовал тоже.

– И что?

– Балдеешь немного... Собственно я, когда в армию призывался, даже не курил. Вообще не пробовал сигарет. А там, смотрю, – балдеют ребята. И чисто ради интереса попробовал. Сначала просто курить научился, потом уж и эту ерунду покурил... Ты только не подумай, что там все по-

головно наркоманами были. Просто расслабиться захочется, вот и покуришь.

– А видел, как наркотики переправляли в Союз, например в тех же цинковых гробах?

– Нет, насчет наркотиков я не скажу, а вот шмотки... Солдату же трудно самому вывезти, вот и переправляешь с офицерами. Или вот много гражданских вольнонаемными работали – коچهгарами, слесарями. И с ними отправляли.

– А ты сам привез из Афганистана какие-то вещи?

– Да, привез.

– На что покупал, на какие деньги?

– На афгани в основном... Нам, вообще-то, афгани не давали, чеками платили. Но на базаре купец и на чеки охотно товар продавал. А откуда деньги брали на дорогие шмотки? Бывало, у трупов. Вот убьешь «духа», обыщешь. У меня дружок буквально перед самым дембелем «духа» застрелил, начал обыскивать и 200 тысяч афгани у него нашел. Это довольно-таки большая сумма. Посмотри: хороший «вареный» джинсовый костюм стоил три с половиной тысячи. Часы японские механические в зависимости от фирмы тоже где-то от 3 до 5 тысяч... Или был еще «источник»: в кишлаках афганцев шмонали. Идет мужик, ты его раз – за «хобот»: давай деньги. Тому куда деваться, дает. Правда, нас офицеры тоже постоянно шмонали. Вот рота выходит с кишлака после прочески, и офицеры с политотдела раздевают нас вплоть до трусов. Вещи, спальные мешки – все вывернут. И если найдут деньги, то накажут: из комсомола там исключат или еще что...

– Какая у тебя была самая большая сумма в кармане?

– Черт знает... Если в целом за все время службы сложить, то, может быть, тысяч сто и наберется.

– И что купил?

– Много что купил. Отцу часы привез, матери – шаль. Да на всю родню всяких подарков навез... Себе джинсовый костюм за три с половиной тысячи взял. Я же говорю: там, в батальоне, народ бедновато жил, а у нас роту постоянно задействовали на процесске, потому денег, трофеев было много.

– А ты не боялся, что тебя убьют?

– Боялся, как не боялся. Просто мне везло, что ли. Вот ехали однажды на операцию на БМП. Механик-водитель остановился, выскочил набрать воды в ручье, а тут как раз обстрел реактивно-пусковых установок. Это что-то типа нашей «катюши», только упрощенное. Ну и попал снаряд нам прямо в силовую люк, в мотор. А мы на башне втроем сидели. Так двоих пацанов здорово осколками посеколо, а меня даже не задело.

– А вообще-то у тебя были ранения?

– Нет. Я единственный с призыва, а нас было 11

человек, который ни разу не ранен. А так все ребята по 2-3 раза ранены. И контуженые почти все.

– И не болел?

– Болел. Желтухой и малярией. Желтуха особенно зимой процветала, процентов 50 полка поражала. Вот сидишь на боевых, кашу в одной посудине сваришь, и все из нее хлебают. И если один уже болеет, то сразу полроты заболевает... А малярия? Тоже болезнь такая неприятная. А у меня еще запущена была, вот и пришлось двое суток в реанимации отлежать, пока выкарабкался.

– Ну, а роман в госпитале не успел завести?

– Когда там. Вот желтухой болел, ходишь, рожа желтая, как у китайца, все от тебя шарахаются. Да и женщин-то в полку было всего человек пятнадцать. Они в основном офицерам доставались. Кто пошустрее, тот умудрялся там что-то... Ну, а солдаты, как правило, до женщин не доходили. Да и времени свободного у нас не так много было. Вот возвращаемся с боевых, начинаем мыться, бриться, приводить в порядок снаряжение. А офицеры берут на базаре водку и к бабам в госпиталь. Уж не знаю, чем они там занимались... Не все, конечно, в основном прапорщики туда лазили.

– Ну и как выкручивались?

– Как? Да никак... Правда, бывали случаи, когда на боевых кому-то удастся афганскую женщину, что называется, изнасиловать. Бывало такое. Конечно, если об этом узнало бы командование, то не поздоровилось бы. Но все проходило...

– Могу представить, какое отношение было у местных жителей к советским солдатам.

– Да, отношение, в общем-то, было враждебное. Вот едешь по кишлаку, маленькие ребятки бегают. Кто-то камень в тебя запустит, кто-то еще какую пакость выкинет. Словом, любви с их стороны мы не испытывали. Хотя, допустим, 23 февраля или еще в какой праздник приходили их представители, приносили подарки.

Когда первую часть полков выводили из Афганистана, мы в охране стояли. И я видел, как останавливали колонны, дарили венки. Не знаю, насколько все это было искренне.

– Расскажи о первом убитом тобой «духе».

– Это я хорошо помню. Была задача взять пленного. Очень тщательно разрабатывали операцию. За неделю до засады на пост выехала группа наблюдения, которая засекала, кто и как ходит. Потом на дело пошла группа захвата, по бокам поддерживаемая группами прикрытия. И вот на нас вышли четыре душмана, но в плен взять никого не удалось. Их сразу же на месте порешили. А один вырвался и выскочил прямо на меня. Вот прямо лоб в лоб. Я у пролома стоял, а он хотел в этот пролом «затариться». Ну, какое там было

мне его в плен брать, я вообще в первый раз «духа» живого увидел. Я даже не целился, инстинктивно нажал на спуск и разрывными пулями разворотил ему весь череп... Раньше, на «гражданке», я читал о состоянии человека, впервые совершившего убийство, о его подавленности, растерянности, страхе. Не знаю, как другие, но я ничего подобного не испытывал. Может быть, потому, что настроен был враждебно. Я ведь до этого уже много смертей повидал. Повидал, как они убивали наших ребят. Жуткое зрелище: покоченные трупы, у кого член отрезан и в рот вставлен. Потом меня старослужащие ругали: мол, должен был в плен взять. Конечно, если бы я хотя бы год прослужил, я б его живым сгрел. А тут... Впрочем, даже гордость была, даже радость какая-то, хотя, может быть, это и кощунственно звучит: я сам, своей рукой завалил «духа», убил врага.

– Как еще издевались над нашими пленными?

– У нас рядом с полком находился аэродром. И вот летчиков частенько сбивали, но в плен они редко сдавались, сражались до последнего. Вот когда самолет сожгут, полк поднимают по тревоге, и мы едем летчика искать. Редко кого живым находили, чаще всего подбирали уже трупы. Когда перемирие объявят, кагэбэшники договаривались с «духами» о выдаче трупов. И на трупах этих живого места не было. Вот как-то полковника или подполковника захватили, так на нем около ста ножевых ранений было. А напоследок ему, похоже, вообще топором жакнули – у шеи все разрублено...

– А эта ненависть к врагу не приводила к стрельбе по женщинам, ребятишкам?

– Нет, по женщинам, по ребятишкам не стреляли. А вот если мужика какого поймает, то примерно так же обращались. Не всякого, конечно, мужика, но если «духа» захватим, то ему тоже тяжело. Хотя, если честно сказать, особо и не разбирались: «дух» это или мирный товарищ... Если кишлак жилой, то старались никого не трогать, но если знаем, что это «духовская» зона или в горах кого поймает, тогда другой разговор. Поймаешь и пристрелишь...

– А бывало, что пытали?

– Бывало, бывало. Прежде, конечно, били. Там же все озлоблены против «духов». Поэтому каждый за счастье считал заехать ему в рожу. У нас ребята таджики были, они понимали их язык. И вот начинаешь пытаться, где, скажем, склад оружия. А «дух» плетет всякую ерунду. Тогда засунешь его головой в воду, пока не начнет захлебываться. Вытащишь. Дашь возможность отдышаться и снова в воду. Но, в принципе, я не любил эти дела. Хотя любителей было более чем достаточно. Вот был у нас парень по кличке Шульц, который любил пленных мурыжить. Всем лень этим заниматься, а он заставляет «духа»

кричать: «Служу Советскому Союзу!» или «Слава ВДВ!» Или ножиком его поковыряет.

– Но не убивал?

– Нет. Но там, я по себе скажу, если бы нам дали волю, то всех подряд бы перестреляли. Просто боялись ответственности. Ведь, по идее, если «духа» захватишь, должны его тут же передавать на командный пункт полка. Офицеры тоже приветствовали наше «обращение» с пленными. Вот и получалось чаще всего, что, предварительно побив и попинав «духа», пускали его в расход.

– Ну, а как складывались отношения с солдатами афганской армии?

– Давай я тебе расскажу о том, как проходил так называемый набор в эту армию. Вот оцепляет наш полк кишлак, и нашу разведроту пускают вперед вылавливать всех мужиков. Допустим, дверь в доме открыта – заходишь, а если на ней замок висит – или автоматом его собьешь, или взорвешь тротиловой шашкой... И так, заходишь в дом, хватаешь мужика за шиворот и волокешь к машине. Он, конечно, кричит, лопочет что-то по-своему. Но ты ведь не понимаешь, о чем он говорит. Вот выловим в кишлаке всех мужчин, посадим в машину и везем на призывной пункт.

– Не спрашивая, хотят ли служить?

– Какой там спрос? Там тогда вообще никого не найдешь. Стоит объявить мобилизацию, как тут же все попрятчутся. Воевать-то никому неохота.

– Ну, хорошо, форму на них наденешь, а они завтра сбегут.

– А они так и бегают. Прижмут «духи» – сбегут к «духам», прижмут наши – сбегут к нашим.

– Расскажи о ребятах из взвода. Наверное, был парень, которого все любили, наверное, была и «паршивая овца»?

– Да у нас в принципе все ребята были хорошие. Ведь в роте постоянно шел как бы естественный отбор. Мы пользовались правом набирать свою команду. Вот отчаянные ребята с полка и ходили, просили нас с ротным переговорить, чтобы к себе взял. Ну, замолвишь словечко, ротный посмотрит, возьмет. Поначалу, конечно, когда молодых привезут, набирали всех подряд. А через полгода слабенькие отсеиваются, подбирается хороший костяк.

– А чем не нравились первогодки?

– Слабой физической подготовкой. Вот идешь с молодыми в горы на боевые, и они сразу же начинают «умирать». Упадут, застонут: «Не могу дальше идти». Хоть что с ними делай... Помню, первый призыв молодой у меня был. Пошли на боевые. А когда вернулись, у меня на автомате приклад болтался. Просто-напросто приходилось всех вперед прикладом гнать. Или вот еще есть особый сорт людей. И здоровьем их Бог не обидел, и силуш-

кой. Но все равно они были как чмо. Такие тоже не нужны. И вот их всех в артдивизион отправляли, откуда в горы не ходят. Или была стройрота – канавы копать, строить что-то. Там тоже с полка все «оборки» собирались. Или еще в банно-прачечный комбинат отсеивали – простыни стирать. У нас молодых солдат звали «зверями». «Звери», ветераны, дембеля, а потом уж гражданские. Гражданские – это уже после приказа министра обороны об увольнении. Обычно у нас как было: приходят в разведроту сержанты, полгода они служат как рядовые. Потом ротный смотрит, кто на что способен, ставит командиром отделения или еще на какую должность. У меня же так получилось: я еще и полгода не служил, как выбили у нас во взводе всех сержантов. Вот и поставили заместителем командира взвода.

– Ну, а как с дедовщиной?

– Дембелизм у нас был страшный. Вот щелкнул дембель пальцем, молодой тащит ему сигарету. Или кусок белой материи подшить, нитку с иглой. Или вот надо сапоги почистить, молодой тащит крем и щетку, а дембель уж сам чистит. Словом, совсем-то уж моральное достоинство не унижали, не заставляли «на дядю» пахать от зари до зари. На боевые в горы лезем, надо воду нести. Кто понесет? Конечно, молодой. Или вот крупнокалиберный пулемет тащим, а у него патроны тяжелые. Так расчет этого пулемета всегда составлялся из молодых.

– И что, не пытались они протестовать?

– Пытались. Вот даже наш призыв, едва в Афган попал, попытался что-то типа бунта учинить. Но подавлялись такие выступления очень быстро.

– А были ли случаи самоубийств, самострелов?

– Был случай, когда первогодок дембеля застрелил, потом сам застрелился. Но это не у нас, это в другой роте. Они в наряде стояли и, похоже, побили тогда молодого крепко. Он бросился бежать, залез на чердак. Дембель за ним полез, ну и получил прямо в лоб. Или вот двоих только-только привезли в Афганистан. Они запал от гранаты взорвали, чтобы обратно отправили. Конечно, стали выяснять, как и что произошло. И установили, что ребятки умышленно себе учинили повреждение. И их отдали под суд. Был один товарищ, который вообще в банду ушел. Где-то месяцаев восемь там пробыл. Потом его на трех «духов» обменяли и куда-то увезли.

– Ну, а по глупости погибали?

– Вспоминаю один случай, когда дружок своего товарища по неосторожности застрелил. Они на КПП наряд несли, один отдыхал. И вот утром второй стал его будить: тыкать стволом автомата в спальник. А для розыгрыша еще что-то по-афгански залопотал, затвор передернул. Ну и

выстрелил нечаянно. Выстрелил, «шары» выпустил, назад пятится, но в шоке продолжает стрелять. Пули четыре всадил... Пришли его забирать, а он сидит весь в соплях, ревет. Дружьюми ведь были, до армии вместе в одном дворе жили.

– Когда ребята гибли – на боевых или по неосторожности – письма их родным вы писали?

– А что писать? Не знаешь ведь порой, как парень погиб. Вот у нас пацана убили, он еще только-только в Афганистан прибыл. Так мы, когда уволились, заезжали к нему домой. Он в Харькове жил. А погиб он, когда взвод в засаду попал. Заперли нас в доме и начали с двух гранатометов долбить. Дверь под прицелом, выбраться невозможно. Тогда взводный скомандовал на прорыв, и первым побежал сапер. Его тут же завалили. Потом взводный сам выскочил – тоже наповал. Следом двое ребят пошли вытаскивать убитых – и их свалили. Вот как раз этого парнишку, санинструктора Алексея Гончаренко. Ему пуля куда-то в печень или в почку вошла. И он долго умирал, кричал даже, чтоб пристрелили... Вообще-то, раненым промедол кололи, как обезболивающее. Вот мы ему вкололи два шприца, но, видимо, мало. В общем, он умер от болевого шока. В конце концов, из того дома мы вырвались, унесли с собой убитых. И вот когда уволились в запас, поехали к этому парню домой. Хотели памятник поставить. Но родители отказались, мол, сами сделаем.

– А ты видел, как отправляли в Союз цинковые гробы?

– Я, когда в госпитале с малярией лежал, посмотрелся. У меня как раз дружок в морге бальзамистом работал. Я к нему заходил и видел все эти процедуры: как привозят кучу мяса и надо придать ей подобие человеческого тела, чтобы можно было надеть форму, положить в гроб.

– Знаешь, от твоих рассказов мороз по коже. Давай поговорим о чем-нибудь веселом. Были, наверное, и веселые случаи?

– Когда тоска наступит, начинаешь придумывать разную ерунду. Развлекаться, словом. Вот однажды возили три недели на Файзабад продовольствие, всю дорогу тогда полностью заблокировали наши войска. И там доходило до того, что кто-нибудь снимет часы, держит в руке, а толпа сидит и из автоматов выбивает с них циферблат... Или пойдешь за водичкой, а кому-то в это время захочется пошутить. Возьмет он пулемет и начнет тебя гонять по полю, пуская очереди по ногам. Вот взводный послал нас как-то за водой, дал час времени. А нам куда спешить: разделись у речки, сидим, в карты дуемся. Хорошо на солнышке... А у нас был крупнокалиберный пулемет с оптическим прицелом. Вот взводный и начал нас очередями с этого пулемета по полю гонять. Потом, псих, еще по рожам нада-

вал. Мол, приказ его игнорировали. Ну, там обращение не как в Союзе, все намного проще. Чуть что не так, офицер дает тебе по морде. И ты доволен, что больше ничего не было, и он доволен, что больше ничего не надо. У нас как-то на это не обижались. Что еще веселого вспомнить? Приходил к нам однажды афганский солдат-каратист. А мы сидели на боевых, отдыхали около брони. Говорит: «Слышал я, что десантники здорово дерутся. Я вот тоже карате занимаюсь. Давайте побьемся». А мы уже дембелями были, как-то страшновато выходить: вдруг и вправду зашибет, хоть и ростом мал? Выпустили молодого. Месяца три парень прослужил, здоровый такой был. И вот они начали хлестаться. Афганец прыгал, прыгал, прыгал, что-то даже кричал. А наш растопырил по-колхозному ноги да как заехал противнику в пах. Тот сразу и согнулся пополам. Потом еще ботинком в нос получил. Нескоро оклемался, ушел очень обиженным. А нам смешно, долго сидели, ржали...

– Ну, а как с Афганистана увольнялся?

– С Баграма сначала прилетели мы в Кабул, на пересылку, там полдня просидели. Оттуда в Туркмению: человек 250 борт взял. А уж потом кто куда... В Союзе нам еще денег дали, ведь получка и здесь шла. Я вот две сотни получил. Кстати, кто легко ранен, тому 150 рублей за каждое ранение выплачивали, за тяжелое ранение давали триста... Словом, денег много. Вот мы и давай по всей стране кататься. Поехали в Чарджоу, оттуда в Ташкент. В Ташкент на поезде нас ехало человек триста. Пьяный поезд был... Со стороны посмотреть – просто ужас. Гражданских жалко. Дрались там. Особенно десантники с остальными родами войск.

– Афганцы все?

– Да. А что делили? Ну, я, когда еще в учебку пришел, услышал, что вся Советская армия делится на два рода войск: ВДВ и «мабута». Другими словами, ВДВ и все остальные. Вот поэтому и драки...

– А ты можешь сказать, что изменила в тебе война?

– Не скажу, что я какой-то не такой домой пришел, что-то такое сверхъестественное там извдал. Служил и служил... Что был там, не жалею, хотя мне совсем не хотелось туда ехать, ни малейшего желания не было. Там ни у кого из солдат не было интернационального чувства. Обыкновенные парни. Им вся эта война вообще не нужна. Вот и пользовались каждым удобным случаем, чтобы жизнь себе лучше сделать. Возьмем те же деньги, которые старались добыть любым путем, чтобы потом купить себе штаны. Словом, оккупанты и оккупанты, как еще назвать?

– И ты можешь сам себя назвать оккупантом?

– Не знаю... Не знаю...

...Сказано: «Не судите и не судимы будете...» И потому я не хотел бы, чтобы судили этого парня, вчерашнего рабочего войны, посмотревшего и перестрадавшего всякого, с нашей мирской «колокольни», подвигающей безоговорочно к ожесточенному воинствующему осуждению. Юра Михеев рассказал правду, не оглядываясь ни на какие запреты, не задумываясь, верно ли будет понято. И я передаю вам, читатель, эту правду, не ведая до конца, куда она выведет...

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

«Бабушка, что плачешь? Это же папин домик...»

Александра Петровна Суслова, мать погибшего в Афганистане офицера-вертолетчика Владимира Суслова:

– Мамошка. Дорогая мамочка... Так он меня называл.

Я сначала все думала: живой он, живой. Не должен он умереть, не должен. Такой был парень. И родня говорила: все равно он живой... Я уж и в часть ездила, расспрашивала ребят. А они одно: сбили. Вертолет фурчит, его хорошо слышно – вот и цель. И вертолетчиков много тогда погибало, по кусочкам потом собирали.

Все годы, которые на четверку заканчиваются, самые горькие для меня. В шестьдесят четвертом брат умер, в семьдесят четвертом – муж. А Вовка вот в 84-м...

Потерять сына – хуже этого на свете ничего нет и не будет. Это самая страшная боль. Самая, самая... В первые пять лет ни одного дня не бывало, когда бы не поплакала. Каждый божий день. Иду, увижу кого в военной форме – у меня все сразу и обрывается. Володя! А сейчас-то уж что – двадцать лет прошло.

Такой он был добрый, ласковый, уважительный. Пол мыть – его святая обязанность. И посуду – никто не заставляет, все сам. Дали нам участок сажать картошку. Так он ни разу не позволил мне копнуть: «Мамочка, ты садись, это моя забота...» У отца нога сильно болела, даже оперировать пришлось. А тут дрова привезли, у Володи же в три часа ночи поезд. Но он до часу дрова колот, складывал в поленницу. Отец управляет:

– Вов, ну иди уже, собираться пора. Опоздаешь!

– Нет, буду работать, пока все не сделаю.

В детстве он у нас как пышечка был. И никогда не разбирался, что покушать. Вот дочка – ей надо хоть маленько, да повкусней, а ему все равно. Дров намели мелко – он и их скушает. Но когда взрослым приезжал в отпуск, первым делом просил:

– Мамочка, поджарь мне картошечки. Очень хочется...

Ни в ясельки, ни в садик он не ходил – все дома, все с бабушкой. Порой придет – весь в снегу, брюки снимет – они колом стоят.

– Пап, я опять клюшку сломал.

А ничего же в магазине тогда не было. Вот отец на работе ему и мастерит хоккейное снаряжение.

Однажды купили новый шифоньер. Ушли на работу, а вечером видим: все дверцы карандашами исчерканы. Я мужу:

– Вася, посмотри-ка на сыновьи художества.

– Ничего, все поправим, все нормально будет.

Чтобы обидеть или наказать сына – такого муж никогда не допускал. Хотя и жилось нам очень тяжело, даже вспоминать не хочется. В шесть утра встанем – пора на работу, вечером вернемся и на строительство нового дома бежим. Там до полуночи. И каждая копейка на счету.

Как-то возвращаемся и видим: на кухне два яблока лежат. Муж и спрашивает:

– Вова, откуда яблоки?

Сын растерялся:

– Это мы с Витей ходили... В сад... К соседям... Он два яблочка взял, и я два яблочка взял.

– Знаешь что... Пойди и верни эти яблоки дяде Сереже. И скажи, что ты их самовольно взял.

– Не пойду... Ни за что не пойду.

– Нет, пойдешь.

Уплакался, уревелся весь, но делать нечего, пошел к соседу:

– Дядя Сережа, я у вас тут без спроса взял. И меня папа послал вернуть...

Сосед улыбнулся, наложил ему целый пакет:

– Скажи своему папе спасибо.

Мало еще лет ему было, когда зашла к нам цыганка, нагадала: этот мальчик будет летчиком. Спросишь его потом:

– Вовочка, ты кем будешь?

– Летчиком, как тетя сказала.

Вот и сбылось пророчество. Поступил в Саратовское летное училище. Служил в Азербайджане, в Германии. А в Афганистан уже из Ленинграда направили.

В школе учился – у него любимая девочка Оля была. А в Саратов уехал – раздружились. Что уж получилось – не знаю. И долго не женился, а я все приставала: «Вов, ну женись ты ради бога, женись». Потом поехал на юг отдыхать. Там с Мариной – она из Читы – и познакомился. Пишет: «Все, мамочка, женюсь». Ну, слава богу.

Начали свадьбу в Кирове готовить. А он – в Германии, она – в Чите. Хоть куда девайся со своими сомнениями.

На свадьбе примета была нехорошая. Встречаем

жениха и невесту хлебом-солью, подносим каравай и солонку. А солонка – раз и на пол, разлетелась вдребезги. Все сразу заохали: «Что-то будет неладно. Что-то будет не так...» И точно – много ли времени прошло, и погиб человек.

Я в тот день во сне большую-пребольшую рыбину увидела. Вилами будто к стене ее прижала, а она все бьется, хвостом виляет. Когда рыбу во сне увидишь – значит, несчастье на пороге. Такая примета. И дочке Любашке тоже приснилось: Вовка с папой едут в троллейбусе, обнялись. А папы-то давно уже не было живого. Выходит, там они уже встретились...

Сколько-то прошло, я у дочки засиделась. И меня Люба не отпускает домой:

– Мам, ты не ходи. Ночуй у нас.

– Нет, Любаш, я пойду. Завтра на работу надо...

Прихожу домой, ноги вымыла, ночнушку надела, ложусь спать. Вдруг стук в дверь.

– Кто там? Заходи.

Входит сосед:

– Теть Шура. Тут тебя не было, телеграмму принесли... Володя твой погиб...

– Как это погиб?

И я все спрашиваю, спрашиваю, а они всякое лекарство мне несут. И я всю ночь не спала, проревела...

На Филейке он похоронен. Хотели вместе с папой рядышком положить, но никак не могли. Не хватило места. Оградка сделана белая, со звездочками красными. Вертолетики и листочки нарисованы. Одна такая оградка, и памятник такой у него одного.

Четыре года даже не прожили молодые вместе. Катеньке, дочке Володиной, еще и трех лет не было.

Потом Марина скоро снова замуж вышла. Катеньке ничего и не говорила, что ее родной папа погиб. И вот придет внучка ко мне, начнет фотографии рассматривать и заявляет: «Ничего не пойму. Тут мама женится. Одна свадьба. И тут женится. На другой свадьбе». А потом, ей уже лет десять было, увидела большую фотографию Володи и спрашивает:

– А это, баба Шура, кто у тебя такой?

– Это, Катенька, твой папа.

– Как папа? У меня же папа Саша...

Тогда только все ей и рассказала... На кладбище пойдем, она букетик цветов возьмет. Стоит около памятника и меня утешает: «Не плачь, бабушка. Это же папин домик...»

... Володя. Володенька дорогой... Как ему жить хотелось. Зачем этот Афганистан? За что наши парни погибли? За что нам, матерям, такая боль? А сколько унижений... Вот чиновники чуть не судилище надо мной устроили. Вызвали как-то, сидят кругом и давай:

– Почему две пенсии получаете? И по возрасту, и за сына...

– Не знаю, я ведь не сама деньги начисляю. Мне принесут, я распишусь...

– Не положено.

– Зачем же несете, если не положено?

У меня уже слезы бегут, а они все свое судят-рядят. Заставили, чтобы я все деньги обратно выплатила. Вон корешок хранится – все возвратила.

А сына-то мне кто вернет? Володеньку моего...

«Мама, мамочка, спаси меня!..»

Лидия Исааковна Кладова, мать погибшего в Афганистане военного водителя Владимира Кислюка:

– Потом уже все мне говорили: «Зачем ты так ревела, когда его провожала? Прямо с машины его обратно стягивала. Сама же беду и накликала...» А у меня предчувствие словно было: неужели не вернется? Не дай бог не вернется – что я тогда делать буду? Не жить мне тогда, не жить... Он же кричал в ответ: «Мама, мамочка, я же не умираю. Я в армию иду. Ты не плакать, а гордиться и радоваться должна, что я здоров и для службы подхожу. Ну разве это парни, которые болеют и в армию не идут?»

Два дня его провожали, гуляли. Такую музыку устроили, столько народа собралось. Пели, пили, веселились. А я ревела, как за покойника. Как чувствовала душа, что больше не увижу. Прямо цеплялась за рукав... А он на провожанках ни грамма не выпил. Одетый пошел, как в клуб. Рубашка такая шикарная, штаны шикарные, вязаная красивая комизелька. Не скажешь, что колхозник.

Когда в первый раз вызывали в военкомат, вернулся из райцентра смурной. Я давай с вопросами приставать:

– Володя, что тебе сказали?

– Сказали, что мамка у меня одна. Могут оставить на год.

– Ну и что же ты не остаешься?

– Мамка, ты что? Ты куда меня толкаешь? Нет, я пойду в армию со сверстниками, с ними и вернусь. А если останусь, все равно военком через год меня заберет.

Я уже реву:

– Володя, ну зачем? Я одна, бабушка совсем старенькая...

А он даже слушать не хочет:

– Нет, мама, ты мне даже ничего не говори. Пойду, и все!

Поработал осенью немного на тракторе в лесопункте, его и забрали. Попал в Свердловск, в учебку. Написал скоро:

– Мама, не переживай. Тут кировских большинство. Если все время здесь служить – хорошо будет. Лучше и не придумаешь.

Ну, хорошо и хорошо. И ладно.

Не знаю, сколько потом времени прошло – нет писем и нет. Я и забеспокоилась, отписала ему строго: «Володя, если ты не будешь давать ответ на мои письма, я пожалуюсь командиру. Потому что у меня душа болит...»

А он просит:

«Мамочка милая, ты такое не делай. Знаешь, как нас ругают, если мы не пишем... А как я могу часто писать, когда езжу в командировки. На месяц, на два. Крутимся по горам на машине. Приезжаю в часть – от тебя сразу три-четыре послания. Прочитаю их, тогда и даю ответ. Ну что ты за меня беспокоишься? Все будет хорошо.»

Глянула я на обратный адрес – какая-то полевая почта. Ничего не пойму. Пошла в сельсовет: может, что разъяснят? А там одно твердят:

– Больно уж ты за сына переживаешь. Все спокойно, войны нет – отслужит и вернется.

А у моей мамы на квартире жил механик Генка. Как братья они были с Володей. И тоже переписывались: о новостях друг дружке рассказывали, о парнях и девках поселковых.

Однажды получила я письмо от сына. Пишет, как обычно: все хорошо, служба идет. И Генка пришел на обед из гаража. Я ему и говорю:

– Вон и тебе Володя написал.

– Ладно, читаем.

Взял письмо, вскрыл, пробежался глазами и как-то сразу сник, изменился в лице.

Я давай его пытаться:

– Ген, что тебе Володя написал, что ты есть раздумал?

– Да не хочется что-то, Исааковна, спасибо. Потом поем.

Спрятал письмо в карман рабочей одежды, покрутился дома и ушел на работу. А у меня одна мысль: надо это письмо обязательно найти.

Вечером приходит: поел, помылся, переоделся. Меня еще спросил:

– А тебе что пишет?

– На, читай. Мне не жалко, хотя ты мне свое не показываешь...

– А что показывать? Один у нас с ним разговор – о девках. Тебе-то это зачем?

Ушел наконец в клуб. Я и давай по карманам шнырять. Мать меня ругает:

– Ты что делаешь? Как тебе не стыдно чужие письма искать?

– Какие чужие? От Володи же...

Самой неловко, но роюсь по карманам. Нашла все-таки – Генка забыл его спрятать.

Начала читать: ой, горюшко! Ничего матери не сказала – быстрее на улицу.

А сын писал: «Гена, я тебя почитаю как брата. Мы все вместе делили, ты так меня провожал... Но в такую я службу попал несчастную, как у моей мамы вся жизнь несчастная. Очень тяжело мне. Война тут идет, настоящая война. И если я все же уцелею, вернусь, буду очень счастлив... Только, Гена, ты мамке ничего не говори...»

Потом снова писем долго нет. Я и туда, и сюда. Ре-ву, места себе не нахожу. То ли в сельсовет снова бежать, то ли в военкомат ехать.

Наконец пришла весточка. Из Таджикистана. Пишет: «Мама, я нахожусь в госпитале, но жив и здоров. Не переживай. Может, скоро и свидимся! Нас обещали домой на побывку отпустить. Так что ты не вздумай сюда ехать. Если все получится, приеду на поправку».

Я опять метаться: ехать – не ехать. До сих пор себя виню, что не бросила все, не села на поезд.

А сын скоро снова отписал: «Извини, мамочка, не получилось домой выбраться. Там такие дела, много ребят погибло, потому нам отпуск и зару-били. Обрато отправили».

Посылаю ему свой упрек: «Зачем же ты мне запрещал? Я бы сама приехала. Хоть бы повида-лись с тобой».

Пробовал успокаивать, хотя какое тут может быть успокоение: «Ну, не переживай, мама. Недолго уже мне осталось. Каких-то четыре месяца...»

А у меня душа болит и болит. Снова в сельсовете поругалась. Достала прямо начальницу своим по-преком, она и говорит:

– Лида, этот Афганистан знаешь какой секрет. Ни-чего говорить нельзя. И чем бы ты помогла? Ничем. Вон в соседнем районе у военкома сына привезли. В гробу. Даже военкомовский сын туда попал. А ты кто? Смирись. Дослужит как-нибудь.

В последнем письме писал Володя, что машину свою ремонтирует: «Вот исправлю бензовоз, и по-везем в Кабул горючее, продукты. Может, снова ме-ня долго не будет, так ты не вздумай командиру жа-ловаться. Вернусь, все подробно опишу».

Не вернулся больше, не отписал. Товарищ его по-том рассказывал: большая колонна шла. Боеприпа-сы везли, продукты, много горючего. Впереди танк, потом БТР, бензовоз, а следом Володина машина. Кругом горы, дорога узенькая, внизу речка. И как на-чали их бить – куда деваться, куда прятаться? Кругом огонь, бой идет, и он метра три не добежал, что-бы укрыться. Очередь в живот... Потом вертолеты прилетели. Раненые кричат, и он кричит: «Парни, спасайте!» Потом тихо, жалобно: «Мама, мамочка, спаси меня!» В Кабуле, в госпитале еще два с поло-виной часа жил. И все просил: «Мамочка, положи

мне повыше подушку! Мама дорогая, спаси меня!..»

Парни, которые его привозили, меня еще и ус-покаивали:

– Вы не беспокойтесь, тетя Лида, мы сами все сделали. Переделали. Он у вас в чистом лежит...

Как раз в День молодежи он погиб. И мы еще тог-да так веселились, так плясали, когда Володя кровью истекал. Пришла я потом домой, уснула. И словно кто-то мне в дверь стучит. Лица не вижу, а го-лос сына: «Ой, мама, еле добрался. А ты ничего и не знаешь, как я до дома дошел...» Проснулась, ничего в толк не возьму: кто добирался, как? Побежала до сестры, рассказываю, что приснилось. А она одно: «Да переплюнь, перекрестись. Тебе уже всякая чушь в голову лезет. Ему там и так тяжело, что ты тут такую ерунду думаешь и видишь».

Несколько дней прошло. Покосила я немножко с утра, вернулась домой, чтобы в летней кухне до обе-да отдохнуть. Наказываю маме:

– Ты меня часа в два-три разбуди. Надо еще пост-ряпать, картошки наварить, скот накормить. А на ночь снова идти косить.

– А не боишься ночью-то?

– А там рыбаки. Да и вообще я ничего не боюсь... Покошу до утра, потом передохну. Светло будет – опять покошу.

И только уснула, мать приходит. В дверь стучит:

– Лида, вставай.

– Мам, что ты хочешь?

– Володю, племянника, в райцентр вызывают.

– Зачем?

– Не знаю. Может, из-за той бабы...

А у нас в поселке и сезонники-рабочие жили, и пьяницы всякие. И одна пара сожителей допи-лась до того, что мужик бабу избил. И крепко – пока ее до Нагорска довели, она и умерла.

А мне-то что до этого, у меня свои дела, свои проблемы. Поэтому отмахнулась, хотела еще поспать. Но мать скоро снова пришла:

– Лида, вставай.

Какой уж тут сон. Встала, надела грязный халат, полезла в подполье за картошкой. Только набра-ла два ведра, слышу: дверь стукнула, кто-то в комнату заходит.

– Исааковна, ты дома?

– Дома.

– Вылазь.

– Это почему так? Мне еще картошки набрать надо.

– Потом наберешь.

Вылезаю из подполья и вижу: пришли директор леспромхоза, парторг и наш начальник лесопунк-та. Я даже несколько оторопела от такой делега-ции. Спрашиваю с испуга:

– Вы что, косить мне пришли помогать?

А сердце так и прыгает: стук-стук, стук-стук...

Директор леспромхоза за стол сел, меня напротив посадил. Парторг туда-сюда ходит, а начальник лесопункта подполье закрыл и в дверях как истукан замер.

Тут расспросы начались.

– Как живете?

– Хорошо.

– А как сын?

– Тоже слава богу.

– А где служит?

– Не знаю. Служит где-то. Говорят, на какой-то войне.

– А письма от него давно были?

– Не сказала бы, что давно.

– А какая у вас тут еще родня?

Не выдержала я больше этих пустых вопросов:

– Знаете что? Что вы мне тут голову морочите?

Родню мою вы прекрасно знаете. Два моих племянника – не лодыри, не пьяницы. Работают замечательно, гремят по всему лесопункту...

Ерзаю я на стуле, нервничаю, а они смотрят на меня пристально, понимают, что больше тянуть нельзя:

– Ты только не волнуйся, Исааковна. Мы пришли о твоём сыне поговорить.

– Ой-о-ой, о сыне, – мне уже не сидится. Начинаю подниматься, а они меня удерживают, не дают встать. – Что же вы мне скажете о сыне? Он что, плохо служит? Напился, машину разбил... Говорите, что с моим сыном?

– Погиб Володя.

Из коридора уже врач выбегает, какие-то таблетки сует, уколы. Больше я ничего не помню, потеряла сознание...

А Володя, племянник, уже знал, зачем его в район вызывают. Первому из родственников ему сообщили. Сестра моя Аня его еще спрашивала:

– Зачем тебе в Нагорск?

– Молчи, мама.

– Как это, молчи?

– За Володей еду.

– За Володей? Что, в отпуск отпустили?

– В какой отпуск. За гробом еду...

Неделю почти еще сидели в райцентре, ждали. Пока я тут криком исходила.

На похороны военком приехал, оркестр из двенадцати музыкантов, восемь человек почетного караула. И народу было... А меня кололи постоянно, держали, чтобы на землю не падала. Но когда гроб опускали, я так рванулась, что тоже едва в могилу не съехала.

«...Мама, мамочка, спаси меня!..» Не спасла. Как же было дальше жить?

В восемьдесят первом он погиб, в июне. А родился в марте 1961-го. Двадцать лет всего жизни, а что

он в ней видел? Супруг у меня потонул, когда я еще беременная была. Володя отца и не знал. И вот годика два-три ему было, увидит какого мужчину, бежит ко мне: «Мамочка, где мой папа? Где папа?..» Кто-то ему конфетку даст, кто-то приласкает, а я ругаюсь: не приласкивайте его. Он же папу хочет, а папы нет. Мне и так тяжело...

Четыре было, когда отчим появился. Он не обижал Володю, горой за него стоял. На мотоцикле ездить научил. Выпивать, правда, любил. Когда перепьет, больно с похмелья мучился. Я ругаюсь, бутылку прячу, а сын одно говорил: «Мамка, а чего тебе жалко – пускай пьет. Видишь, как ему худо».

Учиться не очень хотел, даже говорил прямо: смотреть на эту школу не могу. Зато как работать любил. С молодых лет с бензопилой – все возле школы огородил. И чужой труд ценил. Я вот всегда сажу много цветов. Лягу порой спать, слышу: он девок водит, цветы показывает.

– А ты, Володя, сорви нам этот цветок. И еще вот этот.

– Еще чего. Мамка садит, мамка поливает. Она тоже цветы любит.

А охотник был какой, на медведицу ходил. Взрослые мужики даже удивлялись: такой молодой и так метко стреляет. Хотя и остерегали: не знаем, как у него жизнь пойдет, но уж очень на рожон лезет. По рассказам ребят, он и в армии такой был: все вперед, все вперед. Командир его даже отчитывал: «Надо, Кислюк, немножко и придерживать себя. Жизнью дорожить...» А он – что ж поделаешь, характер такой – не хотел быть сереньким, посередочке. Только первым!

Большим стал – одна техника интересовала, больше ничего не надо. Из армии написал: «Мам, хорошо бы мотоцикл купить». А тогда все эти покупки по очереди шли, через ОРС. Я и записалась на мотоцикл с коляской. Сколько-то времени прошло – подходит моя очередь. Брат – не брат? От сына письма давно нет, а муж настаивает:

– Бери. Я буду кататься!

– Ну да. Напьешься и разобьешь мотоцикл. Пусть пока на базе стоит, а я Володино письмо дождусь.

Получаю наконец письмо. Просит сын:

«Извини, мамочка, но откажись от мотоцикла. Я тут на машине натренировался. Так что экономь деньги, лучше потом машину купим».

Я скот сдам, еще как-то заработаю – и все деньги на книжку. И мужа предупредила:

– Ты до моих денег дело не имей. Своими командуй, а я буду своими.

– Опять Володя что-то написал?

– Написал, что о машине мечтает.

– Ой, хорошо. Ой, покатаемся.

Скоро снова из ОРСа звонят: пришла машина,

будете брать или нет? Договорилась подождать пару дней. А тут о гибели сына сообщили – какая уж машина...

...Кладбище у нас рядом – там березы кругом. Большие березы. Мы даже немного выпилили их – чтобы не упали. Когда заказывали памятник, думали написать: погиб в Афганистане, выполняя интернациональный долг. Но военком мне прямо сказал: «Напишешь так, потеряешь и памятник, и все...» Поэтому написано: погиб при исполнении служебных обязанностей. Но фотография большая – Володя в форме. Он рядом с родным отцом лежит. И оградка сделана, и могила высоко обложена. А чтобы подольше не зарастало, когда я умру, – все плиткой выложено.

Первое время я каждый день на кладбище ходила. Порой и не по одному разу. Меня даже караулили, не пускали, но я все равно убегала. И все лето, и всю зиму – гребу лопатой, ползу на коленках. Обниму могилу, плачу – меня уж тянут с земли...

И жить не хотела: что за жизнь – один стон и рев. Однажды сестра заходит, советует:

– Выпей сто грамм и ложись. Ты теперь взмучена, заревана, а выпьешь – может, и поспишь немного.

Послушалась я, выпила, но мне только хуже стало. Всю ночь проходила, проревела. Утром вернулась с кладбища, корову подоила и думаю: надо что-то с собой делать. Сколько же мучиться – всю жизнь? Зачем? Взяла стопку, достала уксус, прикидываю: сколько налить, чтобы уж сразу... Тут опять сестра забегает:

– Лида, ты что делаешь?

– Сто грамм пью.

– А почему эссенция на столе?

– Не знаю. Что-то, видимо, хотела делать.

– А в стопке что?

– Тоже уксус... Знаешь, Аня, не мила мне жизнь. Не мила...

Она как закричит:

– Прекрати, Лида! Нас две сестры осталось. Если ты это сделаешь – что же мне-то делать? И кто за могилой будет ухаживать? Выкинь эту дурь из головы – не ты первая, не ты последняя.

Посидели мы с ней, погоревали, поплакали. А встала я тогда из-за стола, перекрестилась. И словно какое-то облегчение на душу легло.

А потом сон приснился. Просит сын: «Мама, мамочка. Мне и так тут плохо, так тяжело. Я еще от крови не высох, а ты на меня столько слез льешь...» Потом снится, будто прихожу я на кладбище, а Володя наверху. И гроб открытый.

– Ой, говорю, сынок, ты почему здесь?

– Да просохнуть вышел, мама...

Тогда уж я перестала и на могилке плакать. Сяду сбоку на лавочке: камень – не камень, а слезы на волю не пускаю.

...Зачем это все было, этот Афганистан? Сколько с нас еще тянуть будут, с нашей Руси, помощи всякой-разной? Где же предел всему этому?

Окончание в № 11-12

Виктор Семенович БАКИН

родился в 1957 году в городе Мураши Кировской области.

Окончил Кировский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».

Автор десяти книг прозы.

Публиковался в журналах «Роман-газета», «Наши современник», «Москва», «Дружба народов» и других.

Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени Александра Невского, Всероссийской литературной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, литературной премии имени святителя Макария, Апостола Алтая.

Кавалер ордена Достоевского II степени и высшей награды Российского Союза ветеранов Афганистана – ордена «За заслуги», награжден золотой медалью «Василий Шукшин».

Член Союза писателей России.

Заслуженный работник культуры Кировской области.

В журнале «Север» публикуется впервые.

